

18+

ГАГИК Г. АДАМЯН



С днём рождения,
Лёля!

Гагик Адамян

С днём рождения, Лёля!
Сатирико-иронический коллаж

«Издательские решения»

Адамян Г. Г.

С днём рожденья, Лёля! Сатирико-иронический коллаж /
Г. Г. Адамян — «Издательские решения»,

Быль, в которой «истины никто не ищет» — в ней просто жили-были да ели-пили. Сказка, в которой ни одного завалящего короля или хотя бы принца. Трагедия, в которой никто не умер — кроме тех, кому пришел срок, и одного закадрового кота. Ода бюрократии, благодаря которой счастье — пусть даже недолгое — можно не заслужить, а получить по чиновничьему недосмотру. Одним словом, коллаж. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

ГАГИК Г. АДАМЯН	6
С днём рождения, Лёля!	7
ПРОЛОГ	8
БИНЬЯМИН КУЗЬМИЧ И МАЛЬЧИКИ С ДЫНЯМИ	10
ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ, И СУДЬБА СИГАРЕТЫ	17
ИСТОРИЯ ГАЕЧНОГО КЛЮЧА, КЛАВЫ, МИХАИЛА И	20
РЮРИКА КАЛАБУХОВА	
РОК И ФОРТУНА	31
ЗАГС И СВАДЬБА	34
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ, МИТИНА ХВОРЬ И ЛЕЧЕНИЕ	37
ЛЁЛИНЫ ДУМЫ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

С днём рождения, Лёля!

Сатирико-иронический коллаж

Гагик Г. Адамян

© Гагик Г. Адамян, 2026

ISBN 978-5-0070-6880-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ГАГИК Г. АДАМЯН

С днём рождения, Лёля!

Сатирико-иронический коллаж

Быль, в которой «истины никто не ищет» — в ней просто жили-были да ели-пили.

Сказка, в которой ни одного завалящего короля или хотя бы принца.

Трагедия, в которой никто не умер — кроме тех, кому пришел срок, и одного закадрового кота.

Ода бюрократии, благодаря которой счастье — пусть даже недолгое — можно не заслужить, а получить по чиновничьему недосмотру.

Одним словом, коллаж.

Если при чтении нижеследующего внутренние убеждения и моральные устои некоторых читателей окажутся задеты и у них пробудятся хоть некоторое волнение души и взбудораженность сознания, то автор преподносит им свои искренние поздравления. Согласитесь, трудно найти что-либо хуже застоявшихся убеждений, от коих безысходно порождается процесс разложения, устрашающе соразмерный степени нашей с вами укоренившейся веры в них.

ПРОЛОГ

Жили-были иммигранты...

«А-а-а... Сказка!» — скажете вы. Нет, милейшие, не сказка. Даже если история эта и выдумана, она — вот вам крест — сущая быль. В ней нет ни праведных, ни грешных и истины никто не ищет. В ней только маленькая вымышленная правда о Мите и Лёле... да и о нас с вами тоже. Мы ведь все одинаковы, мы все верим в небылицы. А «жили-были» — это так, для начала...

Итак, стало быть, жили-были Митя и Лёля.

История их, несмотря на почти два десятка лет совместного проживания, довольно банальна и безынтересна. Правда, пока проживали отдельно, вроде бы ничего жизнь была, можно сказать, нормалёк. Потом однажды взяли и встретились...

Так, значит, встретились, заметили друг друга, приглянулись, ну и пошли выпить.

Выпили. Согрешили. Втюрились. Расписались. Растюрились. Втюрились. Согрешили. Перессорились. Развелись... Вроде как негусто.

Если же попытаться изобразить данную картиночку не столь уж сжато, то к вышеупомянутому перечню добавим ещё три или четыре «перессорились», несколько дюжин «выпили», столько же «согрешили» и... пожалуй, всё. Ах, да: в конце ещё разок выпили, закусили солёным огурчиком, ну и подписали мирное соглашение.

Вот и все двадцать лет! Как Митя нежно их определял, «двадцать лет совместного проживания».

По правде сказать, разойтись им не помешало бы ещё за день до женитьбы... а может быть, даже и за два...

Представим себе такую фантастическую альтернативу, будто бы одним славным днём, пребывая в чрезвычайно благодушном внутреннем настроении, взяли Митя и Лёля друг дружку рука за руку и вышли на свежий воздух походить.

Благо погода была бы в тот день соответствующе мармеладная. Солнышко — застенчивое, добренькое такое, безо всяких там магнитных аномалий. Воробьи и другая летучая живность, тихо-мирно покачиваясь на проводах, чирикали бы и посвистывали, как бы обсуждая свои текущие вопросы. Прохожие шли бы своей дорогой, особо не оглядываясь. Количество же недоброжелательных, завистливых или злобно-осудительных взглядов, брошенных в их сторону, в сравнении со средним показателем обычного рядового дня, было бы по крайней мере процентов на сорок меньше. Словом сказать — день хороший.

Неторопливым шагом, углублённые в свои раздумья, пришли бы они к первому перекрёстку. У киоска с мороженым обычной толпы не было бы, а этим беспрерывно стоило воспользоваться.

Купил бы Митя себе и Лёле мороженого. Лёле купил бы её любимое, фруктовое, себе же выбрал бы пломбир. Откусила бы Лёля кусочек, мило кашлянула бы, нечаянно глотнув икарусного угара, и как бы между прочим, взглядом указывая направо, спросила бы:

— Мить, — спросила бы Лёля без страха, — тебе туда?

— Ну да, — четыре с половиной секунды поразмыслив, ответил бы Митя, энергично обсасывая пломбир.

— А мне — вон туда, — сказала бы Лёля, кивком показывая влево.

— Ну... пока тогда. Увидимся.

— Да... до встречи.

Чмокнулись бы... и пошли каждый своей дорогой. Вот было бы отлично!

Хотя, понятно, гарантий никаких, что прямо всё было бы отлично, но всё-таки самоочевидно, что хуже им по причине несостоявшегося бракосочетания не стало бы.

А они же взамен как? Они же, как назло, напротив!.. Похоже, они или по молодости были глупы, или просто-напросто глупы были всегда. Всё лезли куда не надо... Научиться бы им вот так вот, как в сказке, отпускать друг друга на волю. Представьте, какое царило бы согласие! Нервы у всех спокойные. Претензий — ни у кого. Квартир не делят. Глотки драть незачем... Глядь — там и до коммунизма шаг остался. Лафа да утопия!

А Митя и Лёля — нет! Они взяли да и влипли! И влипли они в это дело как-то очень быстро...

БИНЬЯМИН КУЗЬМИЧ И МАЛЬЧИКИ С ДЫНЯМИ

Бродили раз Митя с Лёлей по улицам.

В тот день у них всё было по программе. Разок разругались, следом помирились, ну и, помирившись, естественным образом перешли на тахту.

Причиной ссоры послужил Митин незапланированный визит к Лёле. Лёля, конечно, была тому восторженно счастлива, только ведь «предупреждать надо!».

Вырвался Митя тем днём с работы на пару часиков раньше благодаря Биньямину Кузьмичу, старшему кассиру их научно-производственного учреждения «Время, вперёд». Митя там конструктором числился.

Так вот, Биньямин Кузьмич по долгу общественной инициативы приготовил свой очередной доклад. Загнал с утра ни в чём не повинный коллектив в актовЫй зал, угрожающе глазами всех обвёл, мол, будете рыпаться — зарплатЫ не видать, и объявил: «Язва желудка в современном социалистическом быту на фоне загнивающего капитализма и обжорливого империализма».

Доклад Кузьмич подготовил с завидным усердием. Он всегда так добросовестно готовился. Заблаговременно чего-то полистал, мысли умные выписал, кое с кем побеседовал, жену свою выслушал, ну и давай весь этот багаж воодушевлённо излагать.

Рассказывал долго, произносил внушительные цифры, на статистику ссылаясь... Потом налил себе в стакан из графина воды, медленно отпил и дальше говорит:

— Язву желудка, — говорит величаво, — за один день, други мои, не нажить!

Сказал и почему-то пальцем ткнул в потолок, демонстрируя будто бы: «Вот вам, милые, результат многовременного труда!»

Глянули все туда, а там — жуть! Клякса гнойная пузырьчатая на них оттуда выпучилась наинаглейшим образом. Сама грязно-жёлтая, вся в гадких трещинах, по краям же бахромой бурой прогнившей обросла. Это прошлой зимой отоплением лопнувшим протекло.

Смотрят все на мурло такое страшное и в ужасе ахают. Не хочется никому подобное явление в животе своём иметь. И Мите тоже никак не хочется... Некрасиво как-то, щекотно.

А Кузьмич тем делом продолжает:

— Она, — говорит, — так чтоб «бац!» и задарма почти что никогда не приходит... В неё вложить вон сколько чего требуется! — и, снова многозначительно указывая на потолок, заявляет: — Хотя намерен порадовать, определённо уверяя, что займётся язвой нашему среднему гражданину едва ли, так сказать, удастся. Помимо многих других злополучий для этого необходимы также особое питание и рацион.

Высказав эту обнадеживающую мысль, пошёл Биньямин Кузьмич перечислять многочисленные блюда да лакомства, злоупотребление которыми, по мнению Минздрава, месткома и управления городского общепита, грозит вышеуказанным недугом:

— Печень утиная на цитрусовом мармеладе. Мидии подкопчённые в рассоле. Филе тюрбо с пюре из сельдерея с ананасовой заправкой. Буженина, шпигованная чесноком. Голубцы из бараньего сальника.

Говорит он вкусно... слова произносит не наши... с бумажки декламирует.

Слышит Митя всё это заманчивое безобразия, и мыслишки его прямо как в туман проваливаются, в бездну уходят, захлёбываясь. Лишь плещется беспомощно на глади усмирённого разума еле дышащая диалектика Сущности да Материи.

Ну какой окаянной диалектике место тут, а?! Ну как не отступить ей, бедняге, перед необъятной мощью соблазнённого аппетита?! Ведь тому же прямо до неприличия безразлично уже: язва, не язва... Ах, как сильно испробовать чего-то оттуда не терпится!

И у каждого в голове только одно крутится: «Предоставьте меню, пожалуйста!.. Неотластительно притом! Слово даю честное: злоупотреблять не стану! Мне бы только малость поупотреблять... А в случае, если не стерплю, пожадничая и последствия какие обнаружатся недоброкачественные, — беру всю ответственность на себя. Обещаю не ныть и не жаловаться и бюллетенем тоже укрываться не стану».

Мечтают все этак, раздольничают, и сквозь слюнообильные грёзы их заново улавливается голос докладчика. Тому бы умолкнуть пора, да нет... Кузьмич, оказывается, ещё только на полдороге искушение своё смачное на люд трудящийся накручивать. Вроде как Мельпомена гастрономии к нему пожаловала. Да и голосок певучим сделался, однотонным каким-то, совсем как у священника при богослужении.

— Шейки раковые в заливке маринадной. Поросёнок по-помещичьи. Маслята солёные. Говяжья кассероль с вином. Треска сушёная предбрачного периода с каперсами и орехами...

Распелся Биньямин Кузьмич. Ему только кадельницу в руки — и был бы полный антураж.

Народ, однако, начал выражать справедливое беспокойство. В животах заурчало, затревожилось... Вскоре то здесь, то там пошёл по рядам нервный хохоток и даже стали слышимы выкрики — хотя и кроткие, но критического содержания.

Наконец-то раздражённость масс допрыгала до Кузьмичёвых ушей. Осознал здесь Кузьмич, что малость увлёкся. Излишне воодушевился, стало быть, описательным процессом. Столь долго и старательно вынашиваемая им мысль была под угрозой потери смысла и актуальности.

«Перебрал, дурень!» — самодовольно прогнусавил ему внутренний голосок, в какой-то мере обрадовавшись возникшей возможности глубокой и жестокой самокритики.

«Сам дурак», — не дав себя в обиду, огрызнулся Кузьмич и, быстро очнувшись, говорит:

— В заключение скажу, — говорит Кузьмич, — что, согласно штатному расписанию, обзавестись вышеупомянутой хворью нам, увы, никак не по окладам.

Сказал, стрёб бумажки в боковой карман пиджака, торопливо буркнул благодарность и, взяв курс на столовую, засеменил.

Перерыв давно закончился, однако коллектив работать не хотел, коллектив был голоден, и все оживлённо поскакали следом: самообслуживаться однообразным изобилием, с таким великодушием предлагаемым предприятием общественного питания их учреждения.

Вкусив гречневой каши с усердно пережаренной сморщенной мойвой и закупорив всё это вишнёвым киселём, так и желается поблагодарить (правда, с некоторой двойственностью в чувствах) заведующего столовой, ну и всех остальных работников кухни заедино. Глубокий вам поклон, родные, и спасибо! Не отравили... и не разорили тоже...

Митя, однако, каши в тот день не поел и киселём тоже не побаловался. Жутко захотелось ему вдруг к Лёле.

«Поеду к Лёле, — думает, — вот там чего-нибудь и перекушу».

Настроился и бегом наверх, к Адам Каллистратовичу, отпрашиваться.

Адам Каллистратович, как и все достойные начальники, был партийным со студенческих лет. Стало быть, был крайне строг и суров. Работники его чтили, уважали и малость страшились... Опасались, иначе говоря. Несмотря на то что Адам Каллистратович смотрел на Митю большей частью с благодушной улыбкой, Митя тоже, как и все, предпочитал его сторониться. Однако уж очень сегодня к Лёле тянуло.

Как добежал до нужного этажа, кто-то вовремя предостерёг: у Адам Каллистратовича сегодня мигрень!

Вот когда у начальства мигрень, так к нему лучше не соваться. Ему основательно не до вас. Митя решил на рожон не лезть. Развернулся и пошёл своей дорогой. Точнее говоря,

смылся. Радостным, бесстыжим темпом помчался вниз, выбежал на улицу, влез в троллейбус, выпрыгнул из него кому-то на ногу, извинился, втиснулся в лифт — и уже у Лёли.

— Привет, Лёль, — говорит, улыбаясь, — я пришёл.

— А кто тебя звал-то? — Лёля в ответ.

Ну, тут и разругались, чуть погода помирились, переспали, повалялись... после чего, сжевав по бутерброду — они у Лёли всегда отменные и неповторимые, — вышли погулять.

Кстати, заметим, что неповторимость Лёлиных бутербродов выражалась не столько их вкусовым преимуществом, сколько самым досадным фактом их очевидной неповторимости. Ни разу у Лёли не выходило двух одинаковых бутербродов. Не запоминался ей никогда состав ингредиентов, использованных при создании этих своих шедевров.

Возьмёт, бывало, что сыщется в холодильнике, как попало нарежет и ловко шлёп на хлеб. Потом специями обсыплет, сверху чем-то намажет, тоже не глядя, — и готово!

Ну вот, значит, поели они эти свои бутерброды, крошки с себя в подъезде стряхнули и гуляют.

Оба молодые, в полном соку. Кровь кипит и булькает. Разум как действующая единица, будучи во власти известных биохимических активностей черепно-мозгового порядка, а также по причине обширного непослушания в тазовой области, на неопределённое время — в бездействии. Интуиция, задавленная и зашуганная надменным пренебрежением, в паническом страхе ушла в пятки и зажмурилась.

Идут. Молчат. Так у них с самого начала повелось: как повалялись в постели, чего-то поглотили, так сразу — вон, на улицу. Не сиделось им друг с другом дома наедине. Компания нужна была для гармонии. Хотя бы один кто-нибудь, с тем чтобы разговор какой интересный завести. Беседы у Лёли и Мити удавались хорошо только через третьего человека. Видимо, лучше слышали друг друга при чужих-то да и прислушиваться к сказанному не пренебрегали тоже. А самим, без никого, несмотря на всю эту любовь и взаимную предрасположенность, говорить как бы не клеилось у них. Мнения их ни в чём не сходились, ну хоть убей.

Пойдут в клуб какой-нибудь, джаз послушать.

— Квартет-то какой отменный был, — Митя скажет.

— А мне не понравился, — Лёля зевнёт. — Саксофонист какой-то посредственный.

На концерт классический попадут...

— Хороший был концерт, — Лёля станет расхваливать, — даже, можно сказать, шикарный.

— Вторая скрипка фальшивила, — Митя в ответ.

Мало того что мнения их не совпадали, к тому же и вникать в сказанное им ни за что не удавалось.

Вот в прошлый раз на Лёлиной квартире...

— Торг всё это! Торг и базар! Нет в этом никакой святости. Нет и быть не может, — доказывает Митя.

Спорят они уже вторую пачку сигарет. Назойливый дым, клубясь в ленивом вальсе, держится как можно дальше от открытой форточки. Никак не желается уходить ему, серому. Интересно ведь, чем всё это обернётся.

Те же отмахиваются от него — и дальше дымить.

Пепельница на столе излишне перекормлена, бедняжка. Едва держится... Вопит, всё к ведрu мусорному просится. А этим — хоть бы хны. Им первым делом правоту бы свою отстоять. В обледеневший снежок свой взгляд на задачу слепить — и напавал!

— Да тебе же, Митридат, по-видимому, любить по-настоящему не доводилось, — наступают Лёля в ответ.

Она когда его Митридатом называет, то бишь по паспорту, так, стало быть, хана ему сегодня. Не в милости он у неё более, нерассудительно снискав глубочайшее неуважение с надлежащим процентом презрения.

Митридатом его окрестили, как мать оправдывалась, из наилучших побуждений. Назвали в честь какого-то в прошлом царствующего царя, желая чаду своему королевского почёта и признания.

Не нравилось Мите имя своё никогда.

А Лёля, мечтательно закатывая глаза, продолжает:

— Ведь когда любишь... по-настоящему когда... Когда агапэ!.. филос!.. эрос когда!..

— Опять она сюда любовь впутывает! — кипит Митя. — Филосы твои да эросы... Во-первых, любовь... согласен, это дело волшебное. Словами не описать... Ты же мне, Лёля, тут чей-то пересказ прочитанного рассказываешь. А во-вторых, я совсем не о любви тебе долблю, а о взаимоотношениях. Разницу-то, надеюсь, угадываешь?!

— Да ты сам, чёрствая душа, любить не знаешь!

— Разумеется, не знаю! — досадливо отмахивается Митя. — Знать любить — это то же самое, что и знать болеть гриппом.

— Да-а... — Лёля, сострадательным взглядом обмеривая Митю, — жалко мне тебя. Ты, надо думать, стихов не читал, романсов не слушал. На что же, ты думаешь, Пушкины и все остальные столько чернил истратили? У тебя же дома книг — вон сколько. Взял бы да и перелистал. Видать, для декорации они у тебя.

— Нет, разлюбезная, не для декорации, а для практического применения. Стенка у меня, ведь знаешь, дорогая, югославская, так я её книжками обставил, чтоб не пылилась.

— Так, он ещё и острит!.. Юморист хренов!

Митя опять отмахнулся, стряхивая с брюк пепел.

— Ты от спора не уходи. Так и признайся: «Лёля, твоя взяла», — говорит она, попутно прибирая салфеткой пепел с пола.

— Да что они пишут, писаки твои? «При лунном свете обнять тебя хочу...» или «Я жизни без тебя не знаю, ты перекрыла кислород». Они же просто-напросто в заблуждении, будто о любви пишут. А в действительности хныкают они и режут. О нужде чаще всего плачутся и о хотении, — Митя отвечает самодовольно. — Редко кто в немогущности и пагубности сознаётся. Вот разве только Тютчев отважился:

*О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!*

— Бред какой-то. Тебе в самый раз лечиться надо бы, — нервничает Лёля.

— Лечиться... нам всем не помешало бы, — говорит Митя и идёт к дверям. Стучится кто-то.

Открыл, а там двое мальчишек. У каждого под мышкой по дыне.

— Здравсьте, — здороваётся тот, что слева, — вот, дыни у нас... Продаём.

— Трёшка за штуку, — дополняет другой, — недорого!

«Трёшка за штуку?! Шикарно!» — думает Митя и спрашивает:

— Откуда спёрли, ребята?

— Да ничего мы не спёрли, — отвечает первый безбоязненно, — нашли мы их... ташкентские, кстати.

Мите дыни понравились. Цвет хороший, здоровый, и весят они по меньшей мере по пять кило. Неплохо бы приобрести.

— Спёрли, говорю, откуда? — повторяет Митя.

— Нашли же, говорю, — петушится мальчик в ответ. — А брать не хочешь, так и скажи. Мы дальше пойдём.

— Не хорохорься, тоже мне... — Митя снова за своё. — Заладили: нашли, нашли... Что же это теперь... дыни на тротуарах валяются? Что это вам, копейка или шуруп какой? — и добавляет с ехидством: — А ананас случайно не находили? Вот за ананас — десятку дал бы.

— Ананас нынче и по пятнадцать идёт. В прошлый вторник имели. А сегодня у нас ещё и арбуз был, но продали уже.

— Да-а... ребята вы, я вижу, удачливые, — Митя говорит. — Где ходите? Скажите, будьте добры. Может, и я иногда гулять туда пойду. Вдруг и мне повезёт.

— Секрет фирмы, — снова вступает в разговор мальчик, что справа, — но вам скажем. По сторонам смотрим хорошо, — и продолжает: — Так будете брать или нет?

— Больше пятёрки за пару не дам, — приступил к торгу Митя.

Мальчишки переглянулись. Тот, что слева, мизинцем свободной руки взялся по-стахановски ковырять себе в носу, будто полез за ответом.

— Пять пятьдесят... — брякнул он, выудив, что искал.

— Пять... — качает головой Митя.

— Они же на рынке по пять за штуку идут, — протестует мальчик, обтирая палец о штанину.

— Рынок — заведение казённое. У них там счёт, пересчёт, ревизия. А эти дыни — кто-то потерял, а вы нашли. Вот и берите что дают.

Те опять переглянулись.

— Ладно... забирайте, — согласились они в унисон, опуская дыни на половик.

— Куда! Куда! Погодите, — остановил их Митя и в сторону кухни: — Лёль!.. — кричит.

— Нам дыни нужны?!

— Какие такие дыни? — Лёля в ответ.

— Ташкентские!.. Хорошие!..

— Никаких дынь не нужно, — оттуда сердито, — ни хороших, ни плохих!

И, пробурчав ещё что-то, хлопнула дверью холодильника.

Митя сконфуженно обернулся к мальчикам. Те глядели на него презрительно-вопросительно.

— Надо было вначале у жены разрешения спрашивать, перед тем как торговаться, — съязвил тот, что слева.

— Гоните пятьдесят копеек, — твёрдо потребовал тот, что справа.

— Как пятьдесят копеек? А это ещё за что? — удивился Митя.

— Компенсация за потерянное время.

— Пятьдесят не дам, но десять можно, — согласился Митя, вытаскивая из кармана мелочь.

Выбрал вздрюченную, будто покусанную десятикопеечную, затем передумал, положил обратно.

— Вот, берите, — сказал он, протягивая им двадцать копеек, — заслужили.

Те взяли и ушли.

Митя, вернувшись на кухню, сел за стол и прикурил.

Стол же обновился. Из чашечки, игриво пузырясь и сладно подмигивая вкусной пенкой, выглядывал свежесваренный кофе. В тарелке дожидалось тонко нарезанное и тщательно раз-

ложенное веером яблоко. Вымытая пепельница, трудяга, будто заново возродившись, восхищалась жизнью.

— Зря дыни не взяли, — сожалеет Митя.

— Да на черта мне дыни твои сдались? — Лёля, всё ещё сердито. — Вон, в холодильнике дыня с той недели прописана, всю полку занимает. Разрезать некому.

— Почему это некому? Дай нарежу, — предлагает Митя.

— Да-а... Ты у нас хозяйственный. Ты у нас нарежешь, а как же! Ты же, кроме как языком без понятия болтать, ничего другого не умеешь, — и дальше: — Она там полежит, полежит... и сдохнет. Потом выбрасывать некому. Даже к мусоропроводу не понесёшь. Вот у нас с тобой такие вот дела с дынями каждый день и происходят... Ташкентские!..

Кровеносная система Мити, мало-помалу заполняясь кипящей смолой обиды, оборачивала направленность всех его умственных способностей к анализу несправедливости устоев жизни с прологом и эпилогом глубокого самосожаления. Тошнило с каждым сердцебиением.

Не менее тошнотно чувствовала себя и Лёля. В дверь снова постучали.

За дверью — женщина, Зинаида со второго этажа.

— Здрасьте, Митя.

— Здрасьте, Зиночка.

— Вам случайно дыни покупать не предлагали? — спрашивает она в надежде. — Если купили, я их обратно выкуплю.

— Какие дыни? — спрашивает Митя.

— Самаркандские, вот такие, — раскинула она руки, — две штуки... по шесть кило.

— Нет, — Митя коротко.

— У-ух... таксист этот чёртов... честное слово, — Зинаида, чуть не плача. — Попросила же по-человечески подождать чуток, пока авоськи эти тяжёлые наверх втащу — и мигом обратно, за дынями. Так он: «Не-ет, спешу, говорит, в роддом, жена рождает», — и на тротуар их — хлобысть! Вернулась я быстро, а дыни, понятное дело, стащили уже.

Затем, тяжело вздыхая, бормочет:

— Ну, жена... понятно... чего тут... роды... ситуация уважительная... Но мы же тоже рожали!.. А?.. Мить?!. Ради нас же никто чужих дынь без присмотра не оставлял!

Митя сочувственно покачивает головой.

— А дыни мне эти позарез нужны, — продолжает Зинаида. — К нам вот-вот люди должны... Нам без дынь не обойтись, — и снова вздыхая: — Ну ладно, извините... Дальше пойду искать.

— Зин, ты погоди, — хватает её за руку Митя, — я сейчас. Вернулся он скоро. В руках желтела большая дыня. За спиной — Лёля.

— Вот... бери. Не нужна она нам, — говорит. — Хотя и не самаркандская, но, думаю, выручит.

— Да вы что, миленькие?! Да не надо! Обойдёмся как-нибудь, — отпирается Зинаида.

— Бери, Зин, бери, — настаивает Митя, — нам и без неё сладко, — и к Лёле, с лёгким сарказмом: — Правда ведь, Лель?

Лёля в недоумении. То на Митю пялится, то на дыню смотрит. Потом косится на Зинаиду. Ясно ей только одно: вопрос дыни здесь поставлен ребром. Вскоре пришло несладкое решение:

— Бери, Зина, дыню, — пряча глаза, выговорила она и ушла.

— Я тебе завтра же верну, — крикнула Зинаида вдогонку, — целых две!

Вернулся Митя на кухню. Лучше не вернулся бы. Атмосфера там — хоть чугун лей.

— Ты чего тут самовольничаешь? — нападает Лёля. — Ты по какому праву дынями моими распоряжаешься?

— Ты же сама хотела от неё избавиться, — защищается Митя.

А та не слушает и продолжает:

— Это же тебе, блин, не яйца какие-нибудь или лук, одалживать их или раздаривать. Это же, блин, дыня, десерт всё-таки. Витамины! — прикуривая: — И потом, ты, что ли, её покупал?

— Н-да-а... — Митя в растерянности, — а кто же покупал-то, если не я?

— Ну вот, пожалуйста, опять ты мне по больному месту... Ну и что?! Большое дело! Дыню купил... Да подавись ты!.. Ничего мне от тебя впредь не надо, жадина!

— Знаешь что, добродетель ты непревзойдённая? — неспешно направляясь к выходу, бормочет обиженно Митя. — Вот когда Зина тебе дыню вернёт, возьми-ка ты эту дыню и...

Хотел он здесь ляпнуть кое-что исключительно вульгарное, да сумел воздержаться. Лёля же не ждала и не цапкалась, очень сочно и красочно обозвав его чем-то мучительно обидным. Здесь уже и Митя не поленился, ответив не менее достойной грубостью. Ответил и ушёл.

Им долгого времени для примирения не требовалось. День или два усердно попыхтят сигаретами. После остынут. Остынут, и как бы сиротливо им станет друг без друга, вроде как неуютно... Ну и встретятся заново, почти забыв, о чём недавняя полемика была. В ладах опять будут, тайком выплёвывая тошнотворный вкус вчерашнего унижения.

Вот такие вот и бывали все их разговоры.

ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ, И СУДЬБА СИГАРЕТЫ

Словом, бродят по улицам, в кафе разные заглядывают. Надежда теплится кого-нибудь из своих застать, и словно нарочно — никого.

Сентябрьский день своим шёлковым нехолодным ветерком украдкой обласкивает им лица, ловко сдувая последние, давно увядшие признаки рассудка. Состояние у обоих — ну точь-в-точь как у воздушного шарика. Блестят, при каждом шаге пружинятся... Это ещё хорошо, что хоть за руки взявшись идут, а то, боже упаси, тут и улететь не трудно по пустотности этой.

Желается Мите сегодня что-нибудь хорошее вытворить, нечто исключительно поразительное... Любовь и преданность свою доказать хочется — Лёле... и себе тоже.

«Цветы, что ли, ей купить? Ведро целое? — обдумывает. — А может, лучше в комиссионку зайти?»

Смотрит по сторонам, помощи ждёт.

У Лёли тем временем свои мысли перестукиваются: «Любит — не любит».

Это она столбы фонарные пересчитывает. Решила пересчитать до ближайшего угла, до газетного киоска. Вышло, что любит!

«А может, пропустила я столб какой-то? — сомневается. — Они же все такие одинаковые. Дай я лучше окурки сосчитаю... вон до того дерева».

И по новой: «Любит — не любит».

Последний окурочек, валяющийся на самом краю тротуара, точно посерединке между растаявшим мороженым и чьим-то отвалившимся каблуком, завершил Лёлин счёт на «любит».

«Я вот окурочек этот вот сосчитала, — мыслит она опять в сомнениях, — однако не знаю, можно ли это нечто считать окурком... Все, кому ни покажешь, безусловно, согласятся, что это всё-таки окурочек. Но если получше всмотреться... так ведь нет! Подобная разновидность окурка всё же не является типичной представительницей правильно выкуренной и потушенной сигареты, олицетворяющей наш родной, отечественный окурочек. Наши окурки при нужде вполне даже можно подобрать и — после незначительной обработки — удачно выкурить, получив при этом довольно-таки убедительное удовлетворение».

Лёля обернулась и ещё раз повнимательнее оглядела злополучный окурочек.

«Нет, миленький, ты уж меня прости, но не окурочек ты вовсе. Ну какой ты окурочек, ежели бычка из тебя никогда не выйдет?!»

По существу, сомнения Лёли о статусе данного окурка имели веские основания.

Лежащему на тротуаре предмету (не так давно — сигарете с достаточным потенциалом и полной надежды после того, как будет выкурена, обратиться в полноценный окурочек, а если посчастливится, даже переквалифицироваться в добротный бычок, одарив какого-нибудь безденежного и бессигаретного курильщика парой затяжек и — вместе с этим — мгновениями блаженства и оптимизмом по предмету жизненного бытия) окурком довелось побыть меньше секунды.

Ещё вчера, лёжа рядышком со своими девятнадцатью сёстрами, сигарета осознавала безысходность своей участи, однако при всём при том не могла этой самой участи дожидаться.

Всякий раз, как коробка открывалась, впуская вовнутрь ослепляющий блеск непознанного внешнего мира, нежненькое сигаретинное сердечко в испуге жмурилось и следом восторженно замирало. Словно покорливая затворница гарема, она с трепетом ожидала своей очереди ублажить.

Она знала: придёт час, и пламень хозяйской спички, разжигая в ней очаг страсти и напивая её крошечное тельце сладостью тепла и дыма, пробудит к действию спящий никотин... Свет в тот миг опылится серебряной мгой, и ничто уже не помешает катарсису каждой затяжки (только бы, упаси бог, дождь не пошёл), и беззвучный вихрь экстаза, въедаясь в воздух и лёгкие, унесёт их обоих в диком тандеме самопожертвования.

Владелец их, похоже, был натурой весьма интеллигентной. Ногти ухожены, от рук исходил этакий лёгонький, еле заметный аромат. Кремами пользовался, модник. Сёстры-сигаретки называли его любовно: Онъ.

Вынимал Онъ сигарету из пачки с особой нежностью, бережно очень вынимал, стараясь не придавить. Неспешно, без труда обуздывая страсть вожделения, Онъ с достоинством подносил сигарету к губам, расположив её между пальцами левой руки, и, элегантно пируэтом правой руки откидывая крышку позолоченной зажигалки, прикуривал.

Курил Онъ нечасто. Обычно курил в одиночку и при курении — только курил, не отвлекаясь ни разговорами, ни чтением, ни работой. Даже кофе — и то не пил с сигаретой.

Друзья на его чудачество вначале обижались. Как полезут все в карманы за сигаретами, так Онъ враз в сторону отходит. Со временем, однако, привыкли... А если всё же допытывались, его довод был таков: «Ведь никто же из вас со мной по телефону не болтает, когда с женой в постели...»

Обижаться лишне: человек дорожил процессом.

Тем утром в пачке сигарет осталось не много. Пару минут назад Онъ выкурил одну из оставшихся пяти, тем самым сократив их счёт до четырёх. Ждать следующего акта курения, вероятно, пришлось бы несколько часов, но здесь случилось непредвиденное. Онъ вдруг — резким, сердитым движением — вытащил пачку из кармана пиджака и с несвойственной ему небрежностью выудил оттуда нашу злосчастную героиню.

«Неужто стрельнули?! — в ужасе пропищали сёстры. — Прощай, сестричка!»

Никакие излишние церемонии не уложились бы в стремительность происходящих действий.

«Мерси, товарищ», — лишь только заскрежетал в её ушах сиплый гнусный голос, как она очутилась у кого-то в зубах.

Из рта несло чем попало... а попасть туда с утра успело следующее: почти сто граммов водки, три с половиной «Примы», стакан портвейна, глоток «Шипра» и порция какой-то безрецептной закуски привокзальной забегаловки. Вдобавок ей было невыносимо больно. Кусался тот сильно.

Непослушными, дрожащими пальцами он кое-как уловчился чиркнуть спичкой и... Последующее никак не назвать, кроме как постыдным насилием. Глубокие нелепые затяжки, прерываемые только кратким визгливым кашлем, будто бы задались целью загубить, испепелить.

Как ни пыталась наша сигарета расслабиться, да всё одно — не выходило. Видать, не судьба была ей восторг себяпосвящения познать.

Последняя неистовая затяжка опалила фильтр, и сигаретка в нестерпимой агонии обиды ушла в небытие. Тот, швырнув бедняжку на тротуар, втёр её своим гадким башмаком в асфальт, как бы уничтожая следы позорного проступка. После пнул ногой в сторону, в сердцах плюнул и пошёл. От сигареты осталась одна раскосмаченная сигаретная отметина.

Теперь, разумеется, вы понимаете сомнения Лёли по поводу совершенства сего окурка.

«Да-а... Не любит, значит, — загрустила Лёля. — Вот если б любил, по-настоящему любил... как Волька наш Маришу любит... так он бы меня в комиссионку пригласил, чего-

нибудь там небось и найдётся... да даже хоть и серьги те красные, что Волька Марише!.. Или цветы хотя бы преподнёс — но тогда уж целое ведро!»

ИСТОРИЯ ГАЕЧНОГО КЛЮЧА, КЛАВЫ, МИХАИЛА И РЮРИКА КАЛАБУХОВА

Шагают по улице не спеша, уже лениво, сдержанно идут. Слева машины несутся, за каждый уличный метр друг друга в мыслях или вслух матом кроя. Справа пятиэтажки косятся с подъездами обхарканными. Тут и там магазинчики пованивают какие-то печально-продовольственные, с очередями озабоченными. Надо полагать, сосиски скоро выбросят. Ватага мальчишек голубя травит... А голубь тот хотя и хромой и бескрылый, однако прыток, аферюга, всю жизнь свою голубиную только тем и занят, что от мальчишек удирать. Не поймают.

Пришли к бабке с семечками. Пристроилась та на низенькой табуретке, справа — мешочек с товаром, слева — газета нарезанная, для кульков будущих заготовлена. Волосы бабки платком белым упрятаны, щёки неловко подрумянены, ротик улыбочивый, добрый.

Завернула бабуля им кулёчек. Щёлкают, выплёвывают, дальше идут.

Идут, всё идут себе... и во всей этой ходьбе не получается никак у Мити придумать, как именно Лёлю порадовать.

— Лёль, — спрашивает он, — тебе чего-то хочется?

— Не знаю, — пожимает плечами Лёля, мысленно пробегая по своему долгому списку желаемого добра. — Нет, не знаю... — повторяет она и вдруг спотыкается о валяющийся на дороге гаечный ключ.

Митя резко и уверенно, притом ничуть не забывая о бережности, придерживает, не давая ей шлёпнуться.

— Слушай, Лёль, — продолжает он, — а не взять ли нам этот ключ?

— Какой ключ?

— Ну этот, гаечный, — показывая вниз. — Может, пригодится как-нибудь.

— Да нет, зачем он мне? — отвечает Лёля, отмахиваясь. — У меня уже эти, как его, плоскогубцы есть: каналы телевизора переключать, — и добавляет: — Себе бери, если хочешь, да только таскаться с ним по всему городу... Неохота что-то...

— И то верно, — соглашается Митя.

Хотя и соглашается, однако всё-таки некоторое неудовлетворение происшедшим за руку с глубоким сожалением не упускают случая прорыскать по его нервным клеткам. Как же так — от инструмента халявного отказаться?..

А дело с гаечным ключом этим было так...

Знаем, знаем... Упрекаете, дескать, опять отвлекаемся, от главного отходим. Но бога ради, кто скажет, где это главное-то?

Уронили этот инструмент из окна шестого этажа пятилетние близняшки — Вика и Вика. Если уточнить, они его, скорее, сбросили.

Заболталась их мама с подругой по телефону, детишек своих безжалостно расхваливая, мол, какие они у неё умницы-преумницы да какие особенные-преособенные...

— Виктор уже почти всего Жюля Верна одолел, — говорит с гордостью. — Теперь думаю, может, пора ему за что-то посерьёзнее взяться? А Виктория! Ну та — просто чудо. Не поверишь! Пришла вчера и заявляет: «Мама, — говорит, — Аняня у меня скоро мамой станет». Аняня — это кукла её говорящая. Доченька, говорю ей, здесь ошибка какая-то, куклы обычно никак мамами не становятся. А она доводы приводит. Говорит, мол, а почему тогда у неё аппетита нет и тошнит по утрам? Пристала — требует Аняню на приём в поликлинику записать. Представляешь, умора какая!

Подруги умиляются, хохочут...

А детям тем самым временем невыносимо скучно. Ой как скучно непоседам. Помаялись, помаялись... под диван слазили, за гардеробом пошарили — ручонки и коленки аж чёрные, — ну и на кухню пришли. Заходят туда — видят, лежит там что-то под умывальником... что-то такое лежит... раньше не видели! Предмет здоровенный, на вид тяжёлый, причудливой формы какой-то. Вот и взялись эксперимент затеять. Приволокли его кое-как к окну — и из окна... Занятно им было посмотреть, что с ключом случится, ежели кому на голову упадёт.

Кувырнулся ключ в воздухе разок между четвёртым и третьим этажами и плюхнулся плашмя об асфальт. Плюхнулся и лежит себе — безо всяких заметных преобразований. Даже звука особого не издал, крепыш.

Не вышло, значит, с экспериментом ничего... Что называется, провалился эксперимент. Впрочем, с этим досадным провалом всем здорово повезло... Особенно прохожим, которых в тот момент под окном не оказалось.

Вот если бы не та самая покусанная десятикопеечная, то Митя с Лёлей в тот самый миг словили бы там весьма горемычную участь.

По небрежности своей выронил Митя эту монетку, вынимая деньги платить за семечки. Взвизгнула монетка радостно и покатила по тротуару вон. А Митя — за ней вдогонку. Как-никак, кулёк семечек укатывает.

Убегает монетка — прихрамывая, несуразно подпрыгивая, — никак траекторию не угадать. То влево, лиса, завернёт, то возьмёт вдруг вправо укатит... ни в какую Мите себя схватить не даёт. Решил тогда Митя применить тактику выжидания. Дождался, пока та, обессилившись, свалится, тут и подобрал.

Вернулся к Лёле, а там печальная новость поджидает. Черёд они свой за семечками прозевали. У бабули уже целый класс в очереди стоит. С уроков сбежали, стоят, галдят, толкаются. Пришлось встать им в хвост. Ну а пока эта долгая очередь до них дошла, запоздали они под ключ тот гаечный попасть.

Стало быть, оставят они ключ как лежал, не присвоят, и споткнётся об него тогда Ваня. Очень грубо споткнётся...

Оглянется Ваня, сгоряча матюкнувшись, и приметит валяющийся инструмент. С этим у него сложатся некоторые ассоциации. Обрывки причудятся, преимущественно на мотив работ технико-механического порядка. Вспомнит, что уже более месяца жена пилит по поводу испорченного сортира. Водопроводчика бы пригласить, а то всё ведром да ведром... Заодно спохватится, что ведь на сегодня же с механиком договаривался машину свою показать. Заведёт тут Ваня без дальнейшего промедления свой «запорожец» и газанёт в авторемонтную, где механик первым делом уговорит его обновить тормозные колодки.

Механик тот, Макар, слыл философом. Всех убеждал, Спиноза благой, тормоза чинить. Как склонит Макар клиента к процедуре, как благословение получит, как работу закончит, так в заключение и скажет: «Главное в движении, милые мои, — скажет он, — не само движение, а возможность и умение движение это при нужде успешно укротить. Тормоз — двигатель прогресса!»

Вот оттуда и пошла его кличка: Тормоз. А сын его, Макар-младший, по случаю недавнего юбилея подарил отцу командирские часики, между прочим, не поскупившись и выложив добавочную пятёрку за гравировку: «Тормоз — тоже механизм».

Не догадается тогда Ваня, до чего он Тормозу за свои новые тормоза будет обязан. Не позже чем через какой-то короткий месяц пригодятся они ему, как жизнь.

Ехал он в тот день на работу, ехал быстро... Опаздывал, судя по всему. Вместе с тем водил со вниманием, знаки все замечал. Плавно за угол завернул, газанул — и вот те раз! Инфаркт миокарда!

Нежданно-негаданно прямо перед самым перед носом предстало нечто аппетитно выпуклое. Не растерялся, однако, Ваня, вдавил изо всех сил своей правой тормоз... и замер... Заревел злополучный «запик» протяжно, завизжал от испуга и, чуть-чуть накренившись носом, встал как раз в трёх сантиметрах от Лёлиной показательной попы.

Привычка у той наблюдалась вдруг забываться где попало. Даже возьмёт — и посреди улицы завязнет. Задумается, девочка, невольно о чём-то и парит безо всякого контроля... Вернее, порхает вверх да вниз, едва удерживаясь на слабеньких крылышках своей несбыточной мечты.

После она всем трезвонить будет, как её чуть было «запорожцем» не задавило. Вот обида была б какая!.. Пускай хоть бы «нольшестёрка» была, ну на худой конец — «пятёрка». А тут... вспоминали бы все о ней: «А-а-а... та Лёля?! Которую „запорожцем“?!» Срам какой...

А ключ разлёгся себе неподвижно на тротуаре, кажись, никому и не во вред. Прохожие юркают туда-сюда, если кто подмечает, искоса поглядывает на него, от дум своих собственных особо не отрываясь, и благополучно, не задевая, переступает. Одним словом, игнорирует.

Унесёт же ключ гаечный Степаныч. Не споткнувшись, а, напротив, на подходе зорким глазом подметив.

Степаныч был слесарем первого разряда, добавить не грех — виртуозом своего дела. К слесарному призванию у него в жилах кипела безбрежная пылкая страсть, и таких вот ключей да прочих разнокалиберных инструментов (за рубль пятьдесят или того дешевле) у него дома — целый короб. А если уточнить, их у него был полный слесарный ящик, две битком набитые коробки от обуви и полведра. Однако, несмотря на имеющееся в наличии изобилие, Степаныч ключом не пренебрёг... подобрал.

«Не пропадать же добру, — подумал. — Я его вычищу и зятю своему, Мишке, дам. У них с Клавой дома совершенно пусто. Кроме одной обиженной отвёртки, других инструментов не имеется. — И вспомнил ещё: — Как раз мы сегодня вечером к ним на чай должны... Вот и не с пустыми руками!»

Так и поступил. Пока жена накладывала румяна, разложил на столе, предварительно подстелив «Правдой», чуток ваты, старую зубочистку, пузырёк с керосином и баночку смазочного масла. Обработал он инструмент с крайней любовью и скрупулёзностью, не стыдно и на ВДНХ выставить.

Сияет ключ от счастья, аж захлёбывается.

Вручал Степаныч свой подарочек Мишке торжественно, при всех. Михаил же — натура творческая, бездеятельная. Ему ключ этот гаечный — что Степанычу партитура Шнитке.

Насторожился Миша, призадумался. Не по себе стало душе тонкой от подкрадывающегося чувства оскорблённости.

«На что они хреновину эту надумали мне преподнести? — думает. — Намёк за этим кроется, что ли? Уверены, будто никчёмный я? Будто гвоздь в стену забить не могу?»

Дуется бедолага, дуется, аж лопнет вот-вот. Лоб уже испариной искрит, виски набухли... Однако скандальных сцен Миша устраивать не любит. Мягко он по характеру, труслив. Прикусил язык и благоговейно принял дар. Обсмотрел, деликатно потрогал, даже сообразил обнюхать, при этом учтиво замечая, как вкусно пахнет. Затем понёс инструмент к серванту и бережно определил его между хрустальным графином и поддельной иконкой Божьей Матери.

Пролежит там ключ до следующего ноября.

В тот ноябрь Клаве за образцовую службу выпало повышение. Служила она паспортисткой в паспортном столе. В погонах женщина была... как по профессии, так и по природному характеру. Особа, многие скажут, стержовная. Мало ей было на всю катушку всеми помыкать, а тут ещё в придачу продвижение это в Отдел виз и регистрации, да и звезда вместе с тем капитанская... Одним словом, голова у бабы поехала.

Людам жизнь травить — ей как воздух... ну а Мише, естественное дело, доставалось больше всех. Она на нём, похоже, упражнялась, видно, чтобы потом в конторе у себя в хорошей форме быть. По причине или без — разницей не служило... Не задохаться ведь человеку.

Тем судьбоносным утром, настраиваясь на свой ОВИРовский дебют, Клава, по всей видимости, маленько перебрала. Или, быть может, перебрала основательно... Хотя возможно и так, что некоторую роль в исходе событий сыграла также непредусмотрительно съеденная Мишей предыдущим вечером не совсем свежая сарделька.

Клавин порыв самовосхищения и агрессии, без труда спровоцированный приливом тройной дозы адреналина и пробуждением не так уж глубоко спящих мужских гормонов, нуждался в добавочном питании.

Окунула она Мишку в грязь, аж пузырей не видать... Окунула — и давай втаптывать несчастного сапогами своими милицейскими: хлюп-хлюп. Привыкший был Миша к такому обращению. Дозволял он ей себя принижать, коль такая у неё к преимуществу жажда ненасытная.

— Прекрати бренчать там с утра... ушам тошно! — орёт Клава во всё горло. — Ты бы полезным чем занялся. Вон, лучше бы мусор вынес! — и продолжает: — Заодно и каракули эти свои с мусором выкинь! Тоже мне, сочинитель беспородный. Вечно бумагу поганишь. После твоей музыки бумагой этой даже жопу не вытереть! Дворняга ты, вот ты кто! — вопит. — Дворняга и дилетантик! У Венедикта, сокурсника своего, поучился бы... У того хоть песенки какие-то получаются. Не то что у тебя!

Миша, как правило, жене не отвечал и в распри не вовлекался, тем не менее такую критику в то утро переносил с трудом. Вдался, горемычный, в огорчительные раздумья... Думает и беспокоится:

«А что, если права Клава?.. А что, если заместо консерватории в ветеринарный надо было?»

Видит себя с коровами да овцами, и от дум этих запутанных жить ему тяжело становится, ах как тяжело жить ему в понедельник этот... Вдобавок ещё и живот болит несносно, совсем как ножом его кромсают.

С одной стороны его Клава пилит, с другой — живот режет... Сник Миша, обессилел совсем от недружеской обстановки этой, никак не очухается.

Сидит неподвижно... застывшими пальцами на клавишах «чижик-пыжик» наигрывает, как вдруг нечто другое чувствует. Сила какая-то к нему пришла — силища! Вроде как на подмогу объявилась. Пришла и безо всякой видимой натуги овладела Мишей на все сто процентов. Подняла она его из-за рояля и повела неторопливо к серванту. Думал Миша к туалету свернуть, да не вышло. Сила не дала. Постоял Миша немножко перед сервантом, святым образом полюбовался, решительным движением открыл стеклянную дверцу, извлёк презент Степаныча и, подойдя к Клаве, размахнулся...

— Вурдалачка, — прошипел он храбро и поплёлся в туалет.

Что же с ними дальше было?

Содержится ключ гаечный в архиве закрытых дел районной прокуратуры. Лежит в целлофановом пакете с этикеткой

«Дело №70943. Вещдок №1».

Спишут его по прошествии времени и вместе с другим застаревшим криминальным барахлом продадут с аукциона. Купит его учитель труда какой-то средней школы, и пойдёт ключ дальше по стране шастать, гайки закручивать да откручивать, судьбы людям предопределять.

Так, если б не он, выслужилась бы Клава до заместителя и управляла бы ОВИРом по сей день, беспощадно шлёпая всем направо-налево сердитые отказы на выезд. Потом, присущее своей натуре, отказала бы в выезде и Кузе, близкой подруге Митиной бывшей подружки Нины. Той самой Кузе, которая в прошлом имела общеизвестный долгоиграющий романчик с Митиным другом Ромой. Ещё Клава подпортила бы отъезд за кордон и Маврику, приятелю Лёлиной племянницы, что тоже для нормального хода нашей истории очень было бы нежелательно.

Благодаря же злополучным похождениям нашего гаечного ключа ОВИРом стал руководить некто более сердобольный. И уже без значимых помех прикатят Маврик и Кузя именно туда же, где будут жить Митя с Лёлей. Правда, с определённым разрывом во времени прикатят. Кузя — та вообще пионер, раньше всех переедет. Видать, потому мужья да ухажёры у неё в первое время одни исконные иностранцы и будут.

Маврик же прибудет туда почти на три года позже. Денёк отдохнув, явится к Лёле с весточкой с родины... от племянницы то бишь. Посидят хорошо, мыслями пообменяются... Станет Маврик захаживать к ним вечерами. Освоится... Привыкнет... И они жаловаться не станут. Зачастит... и давай появляться днём тоже. Ну а дальше наладится у него с Лёлей некая романтическая связь, разлаживая и без того шаткую дипломатию семьи, что в дальнейшем не сможет не сыграть своей определённо положительной роли в идейном раскладе нашего повествования.

В какой-то степени подобную же роль в их биографии сыграет и Кузя — и опять-таки не без существенного эффекта.

Клава же, земля ей пухом, покоится на Митрофановском. Как зайдёте через главные ворота, на третьем перекрёстке заверните налево, пройдите могилки две или три, и вот она — по правую руку. Место достойное, да и отыскать нетрудно, памятник приметный.

Дело с памятником ей уладили сослуживцы. Взяли идею, так сказать, в шефство. Хлопотали, верные, от радости не щадя сил. Побегали туда-сюда, подписи собиравали, и к концу третьей недели всё же удалось председателя месткома Лялькина с этим вопросом убедить.

Лялькин, чтобы дальше не канителить, утром следующего же понедельника обещанную сумму выписал. Тем же днём, в перерыв, прямо на ногах пообсудив стилистическую манеру, в которой хотелось бы представить Клавдию грядущим поколениям, коллектив пришёл к согласию и, вручив Кальке Рубашкиной деньги, бумажку с наброском идейной концепции будущего произведения и две Клавкины фотографии (в анфас и профиль), послал её к скульптору.

Прибежала Калька к скульптору. Взволнованно постучалась...

Растрогавшись чуткостью Клавдиных коллег и ещё приняв в расчёт факт того, что соотношение диапазона идейного полёта поставленной задачи с предложенной суммой положительно соответствовало рыночным установкам тех дней, скульптор от заказа не отказался. Заказ принял и не откладывая в долгий ящик (муза для такой работы прописана у него на постоянное место жительства) приступил к делу.

Ваял он Клавду целую неделю. Отнёсся к работе с исключительной добросовестностью. Закончив, усердно и бережно обработал все детали шкуркой, а в довершение покрыл её с головы до ног бронзой (заметим, что бронзу покупал за свой счёт).

Налил себе сто, сел перед Клавой, дымит, любитесь... Все как увидели — ахнули! И сам не пренебрёг... тоже ахнул пару раз. Ничего ведь не скажешь, работа — одно загляденье!.. По всем параметрам — памятник!

Стоит она теперь там во всей красе представителя органа правоохранения. В руках — Уголовный кодекс (том второй). Читает Клава сосредоточенно, сразу видно, вникая в суть читает, в глазах же замерло вдохновение, тронутое слабыми штрихами озабоченности, должно быть, по вопросу серьёзности осваиваемого материала. По бокам крылышки скромно полураскрыты (тоже в бронзе), и надпись на постаменте: «Вы меня всегда помнить будете!» И даты приведены на следующей строке, через тире.

Другая надпись — чуть справа, внизу — выцарапана ножом:

«Здесь сидел Федя и долго думал». Дату Федя тоже не забыл приписать, то бишь прицарапать.

Степаныч же, заглаживая вину за троянский свой подарок, поставил сестре ограду с острыми кольями — против зевак этих федеподобных, которые к Клаве думать присаживались. Помогает, кажется... да и смотрится солидно. Потом ещё одной ночью прокрался туда с молотком да и разломал её крылышки. Не по душе они ему были. После этого если на Клаву сзади взглянуть, так у неё по всей спине горбики, точно как у Годзиллы.

Чистосердечное признание Мише не особенно услужило. Хотя и позвонил сам, и сдался без сопротивления, и всё без утайки рассказал, вместо 104-й, на что надеялся защитник, пошёл по 102-й, по пункту «б»: умышленное убийство из хулиганских побуждений. Чувствуется, прокурор с Клавой знаком не был. Мише же, по правде говоря, было безразлично.

В начале судебного процесса Мишина придурковато-счастливая физиономия народному судье Наталье Растороповой понравилась. Пришлась она ей как-то по душе.

«Дам ему восемь лет, — мечтает, — когда выйдет — возьму себе!»

Однако уже на четвёртый день пришло определённое разочарование. Потому как выражение лица у Миши так и осталось неизменчивым.

«Обычный дурак», — вздохнула Наталья и, стукнув молотком, дала ему пятнадцать лет. Сжалилась всё-таки, не вышую...

Проживает Миша теперь на государственном довольствии... В отдельной камере притом. Вечерами любитесь дальневосточными закатами, наслаждаясь как эстетикой мироздания, так и казёнными харчами. Сидеть ему ещё долго, вот и сидит... и свободой упивается.

Дышится ему привольно. Утро встречать есть зачем. Уже шестое произведение писать заканчивает. Успел сочинить два концерта для балалайки и струнного оркестра (один в до-мажоре, другой в до-миноре), четырёхчастную сюиту для баяна, полуторачасовой струнный квартет с гусями и героическую балладу для оркестра с хором. «По ком плачут виновные» называется. Трудится Миша в настоящее время над финальной частью своего реквиема. Пишет для оркестра народных инструментов и грузинского многоголосья. Нравится ему это...

Ещё нравится Мише философствовать. Он и тут результатом доволен. К примеру, с великим трудом родившаяся мысль

«Упавшее с дерева яблоко намного вкуснее тех, что на ветвях» вскоре надоумила его на другую, более утончённую: «Падший ангел более с нами откровенен, чем те, которые на Небесах». Прогресс налицо.

Помогает ему с этим делом отчасти Рюрик. С надзирателем Рюриком Калабуховым сдружились они с первых же дней и почти с тех самых пор во время каждой Рюриковой смены умничают друг с другом да мудрствуют.

Поначалу разговоры говорились на тему Мишиного проступка. Большей частью здесь высказывался Рюрик, Миша же в ответ обходился разнородным мычанием.

Отопрёт Рюрик со скрежетом Мишино дверное окошечко, чтобы слышно тому было хорошо, и говорит:

— Что же ты, дурачок начитанный, на супругу-то свою набросился? — мягко, по-родительски упрекает он. — Она же тоже личность тонкая... У неё ж тоже высшая цель, должно быть, имелась. Может, она втайне стихи писала?! Может, украдкой песни сочиняла!? Или, может, формулы новые химические придумывала... А ты, узурпатор, взял — и одним махом всё это ликвидировал. Опрометчиво, надо сказать, поступил... себе же на голову. Не по-нашенски это...

Молчит Миша уныло, ноготь себе грызёт.

— Гляди-ка, не вытерпел парень!.. — продолжает Рюрик с чувством. — Большое дело — жена зараза! Со сковородой, видите ли, наезжала... Нас ведь тоже сковородой или даже, бывает, кое-чем и потяжелее... так мы же не дерёмся... так мы же проглатываем и молчим и не то что убивать, даже бежать никуда не думаем...

— Угу, — мычит Миша, вроде как в согласии.

— Да, не думаем... — нравоучительно рассуждает Рюрик, расхаживая перед Мишиной дверью. Ставит шаги с расстановкой, не торопясь. И говорит тоже не торопясь. Впечатление такое, будто сам с собой разговаривает:

— Не бежим... Что? Скажешь — бежать некуда?

— Угу, — мычит Миша.

— Или, может быть, думаешь, не с кем?

— Угу, — мычит Миша.

— Или что лень попросту? А может, страшно?

— Угу.

— Да ну тебя к чёрту! — восклицает Рюрик в сердцах. —

«Угу... угу...» Не бежим — и всё! Нам так покойней, привычней нам так. Чего мы там не видели?!

— Угу, — подтверждающе мычит Миша.

— А тут у нас семья всё-таки, — продолжает Рюрик, — первичная ячейка общества... Быт, комфорт, телевизор, в конце концов... целостная благодать!.. Двадцать два с половиной квадратных метра жилплощади!.. Кстати, и пол-литра в чулане всегда имеется... А боль?.. Так мы её вытерпим. Не такое терпели.

— Вопросик можно, товарищ Калабухов? — поднимает руку Миша.

— Валяй, — благосклонно разрешает Рюрик.

— Что у вас сегодня интересного было, товарищ Калабухов? — спрашивает Миша с некоторой иронией.

— Где что было? — переспрашивает Рюрик.

— По жизни... Что-нибудь захватывающее расскажите...

— Что у меня сегодня интересного было?.. — озадаченно раздумывает Рюрик. — Дай бог вспомнить. Ага, вот!.. Ася мне лосось пожарила!

— Что до этого было? — продолжает Миша, проглатывая слюну.

— Ну... ночь же была, — отвечает Рюрик настороженно, уже ожидая подвоха.

— А что вчера?

— Вчера тоже хорошо... палтус...

— Угу, — мычит Миша, весь довольный.

Со временем исчерпавшая себя тема многосложного семейного обихода, незаметно испарившись, уступила место перепалке разобщённых попыток на примитивно-заурядные премудрости.

Однажды после продолжительной полемики Рюрик авторитетно изрёк:

— Не положено, Миша, рушить то, что после невозможно будет восстановить, — и, взглянув на наручные часы, говорит: — Пора мне, время дежурство сдавать.

Попрощался и потопал.

— Спокойной ночи, товарищ Калабухин! — приплюснувшись щекой к решётчатому окошку, кричит Миша ему вслед. — Привет супруге! Но всё-таки не забывайте: вымышленные нами люди опасны! У них нет недостатков!

— Будь то человек или предмет, они приобретают для нас подлинную ценность только тогда, когда мы их лишены, — притопав обратно, вновь штурмует Рюрик и ещё сердито добавляет: — В сотый раз говорю тебе: не Калабухин, а Калабухов. Путает он вечно, — бормочет с досадой.

— Да, да... Калабухов... Извиняюсь, — извиняется Миша, а дальше отстреливается: — Каждой истине прямо противоположна другая, такая же, не уступающая по силе первой, истина.

— Постановка вопроса отнюдь не гарантирует наличие на него ответа, — продолжает наступление Рюрик.

— Иногда многозначительность поставленного вопроса полностью превосходит сам ответ, — не сдаётся Миша и, воспользовавшись заминкой Рюрика, добавляет: — Сокровенно всё то, что мы в себе так ловко утаиваем, не делимся даже со своими ближайшими. Вот это вот и характеризует нас вернее всего.

— На небо засматриваемся, звёзды читаем, пытаемся будущее углядеть... Но что там видим? В лучшем случае — прошлое, — Рюрик говорит с заметной потерей интереса.

— Наихудшие из нас одержимы немилосердной страстью, — отвечает Миша, тоже уже, похоже, выдохшись.

— *В коварной тишине потустороннего мгновенья*

Реальность обретает жидкий звук, — переходит на поэтический лад Рюрик.

— *И дождь смывает все следы*

Дорог, пройденных нами в прошлом,

Обмыв грядущих дней пути.

Закрой глаза, иди и наследуй, — тем же манером высказывается Миша.

— Овация ветра, — вставляет Рюрик, позёывая.

— Притворная тишина, — Миша ему в ответ и, малость погодя, по всей вероятности, протрезвев, спрашивает:

— Калабухов, что мы тут вообще городим?

— Ну... общаемся, что ли? — робко бормочет Рюрик.

— Да нет же... белиберда всё это.

— Ага... чепуха...

Воздержавшись после этого пару дней от каких-либо совместных бесед, Миша с Рюриком возобновили свой словесный гудёж, здесь уже легонько затрагивая вопрос добра и зла, а далее — и того хуже — плавно перешли к дерзновенным размышлениям о божественном и бесовщине.

Пришёл в тот день Рюрик на дежурство хотя и не выспавшись, но в достаточно возвышенном состоянии. Соседская болонка Джоконда, обыкновенно скромная и тихая собачонка, всю ночь напролёт безостановочно поскуливала и повизгивала, не дав своим поведением Рюриковой семье, как говорится, сомкнуть очи.

Супруга Ася, с полчаса повертевшись в постели, нечаянно пришла к похвальной мысли.

«Раз уж не спим, — подумалось Асе, — почему бы не переспать? Кажись, с майских праздников не давала».

Ещё раз взвесив все за и против и убедившись в обоснованности намеченной процедуры, обернулась она к Рюрику и мурлычет:

— Ну?.. Калабухов?.. — мурлычет Ася Рюрику на ушко, сладостно покусывая ему мочку. — Пристраивайся, милочка...

И одарила Ася Рюрика хорошим мужским счастьем. Расщедрилась даже и дважды одарила... тем самым обеспечив мужу глубокую внешне-внутреннюю благодать как минимум на сутки, а может, и на двое.

Пришёл, стало быть, Рюрик на работу хорошо одобревший и говорит:

— Ты, Миша, — Рюрик говорит, — меня впредь Рюриком называй.

— Так ведь неловко как-то, надзиратель Калабухин, — Миша отвечает, немного растерявшись, — фамильярничать-то.

— Не Калабухин, а Калабухов... — ворчит Рюрик по-доброму. — Неловко ему!.. А ты попробуй, — уговаривает он. — Мы с тобой, брат, удачно характерами сошлись. Мы с тобой, брат, лучше сошлись характерами, чем я и брат мой Платон. Ты мне, брат, — Рюрик говорит, — совсем уже как брат кровный!

Стоит Миша в молчаливой улыбке, а Рюрик продолжает, сам от себя опьяневший:

— Вот именно!.. — захлёбывается Рюрик. — Ты мне, Мишка, второй брат теперь после Платона! Да какой там второй?! Ты мне, брат, — брат первый! — и, шагнув впрытик к двери, еле слышно шепчет: — Хочешь, брат, я тебя на волю выпущу? Ася нам стол накроет... Самогонки у меня аж целых три литра... кум на днях подарил.

Миша, конечно, тут обалдел, однако от искусительного предложения поесть да выпить, разумеется, отказался, взамен согласившись звать отныне Калабухова по имени. И с этой душевной ноты пошли у них очередные дебаты.

Дебаты эти шли у них размеренно, в мирных тонах и однажды, после длительного философствования — трудно уже сказать как и почему — привели к одной мысли.

Почесал Рюрик себе плечо, следом почесал затылок и говорит:

— Для доброты, — говорит Рюрик не торопясь, крадучись говорит, боясь, как бы мысль ту не спугнуть, — значительная силища требуется. Взять, к примеру, соседа моего, Захара... Захар вроде бы робкий... застенчивый вроде бы Захар... Большей частью — услужливый... Всегда соглашающийся... Одним словом, добрый, кажись. А я думаю — он, скорее всего, хлюпик да трус.

— Скорее всего, — соглашается Миша.

— И ты так думаешь?! И я так думаю! У него же сил нет добрый поступок совершить. Мощи недостаточно, — продолжает Рюрик. — Вот представь, мы с ним на рыбалку поехали... Нет, давай лучше в горы пошли, по скалам лазать... На Казбек... Взбираемся, значит, хорошо, мастерски, как вдруг — неудача! Камешек у меня из под ботинка ушёл... Сорвался я. Ну каким образом, ты мне, брат Миша, скажи, Захар при дряблости своей мои восемьдесят килограмм плюс ещё и снаряжение моё килограмм на семь удержит?

— Ты вправду восемьдесят вешишь? — засомневался Миша.

— Ну пусть девяносто... Так ведь того хуже. Как же он вытащит-то меня из пропасти? Нет, брат... для этого дела рука крепкая нужна.

— Да-а, — подтверждает Миша, — для доброго дела существенная сила требуется.

— Поглядел бы я на мать эту, как её, Терезу... Интересно, как бы она без финансовых средств на гуманность свою и милосердие повсюду шастала? — ехидничает Рюрик.

— Правильно, простым добрым словом обездоленным сильно не поможешь, — дополняет Миша.

— А я более скажу, — продолжает Рюрик. — Доброта, она суровости требует и даже всецело хладнокровного подхода.

— Точно как и зло, — искренне вздыхает Миша. — Разве не так, Рюрь? Всё, что бывало, есть и будет, — одними и теми же нотами пишется. Только паузы между ними разные, ну и чередование тоже.

— Меня в пятом классе на аккордеон давали! — услышав о нотах, воспрянул Рюрик. — В Дом пионеров! Второй этаж...

— Бесконечная симфония жизни... — игнорируя Рюриково примечание, продолжает Миша задумчиво. — Нескладица безупречной формы... Полифоническая гармония радости и боли...

— Этюды Бургмюллера, Черни... — мечтательно погружается в воспоминания Рюрик. — Пирожок после урока...

— Вот что я о нём сегодня думаю, — Миша вдруг оживляется, указывая пальцем наверх.

— О ком? — спрашивает Рюрик, естественным образом будучи не в состоянии видеть за дверью камеры Мишин жест.

— О нём, — снова тыча ввысь, говорит Миша, прибавив чуть-чуть пафосности. — О Вездесущем... Едином...

— О ЦК, что ли? — опасливо переспрашивает Рюрик.

— Ну Рюрик... — отмахивается Миша раздражённо. — О каком ЦК? Я о Боге...

— А-а-а... Ну? — облегчённо и одновременно заинтересованно выдохнул Рюрик.

К Богу он относился с уважением и с некоторой в придачу симпатией. Ему Бог никак не мешал, и Мишины слова его заинтересовали. Рюрик даже не подозревал, что у людей на этот предмет могут быть какие-то самостоятельные суждения.

А Мишино суждение в тот день на предмет Бога было таковым:

— Во-первых, никакой он не вездесущий... в буквальном смысле этого слова, — Миша говорит, присев на нары.

Сел и задумался... Поразмыслил ещё немного и продолжает:

— Нет, конечно же, соображение, что способность быть повсюду, где ему ни заблагорассудится, содержит в себе долю правдивости, однако со следующим небольшим уточнением: не в одно и то же время. Не бывает Бог одновременно даже хотя бы в двух местах. Не может он этого... Факт-то налицо, Рюрик!..

Рюрик ждёт продолжения. Покусывает губу и в терпеливом молчании ожидает фактов. Миша же шлифует свою мысль дальше:

— Если верить тому, что начало всех начал основано на Любви, — говорит Миша, — тогда оглянись, Рюрик... Оглянись вокруг, — повторил он и, встав с нар, повёл рукой вокруг себя, как бы демонстрируя своё окружение. — Не успевает, видимо, трудяга, при всей своей могучести и мощи владения свои как следует надзирать. Не хватает его, Бога-то, на всех... Всё контролировать не поспевает... Отсюда вывод какой?

И, не дождавшись от Рюрика никакого ответа, выговорил:

— А вывод отсюда следующий: возможности Божьи порядком ограничены. Он, пожалуй, одно лишь довольно-таки компактное подобие облачка, хотя и объединяющее в себе всю вселенскую Любовь. Облетает эта Божественная эссенция свои владения, пока не попадётся ей подходящий претендент. Найдя, приглядевшись и примерившись, нацело впитывается в сущность бедняги, без остатка подчинив себе его моторный и речевой аппараты. Вслед за этим уже руками и властью этого самого человека и приступает к своим чудным делам. Притом действует с превеликим удовольствием и с хорошим конечным результатом.

— Вроде как марионеткой управляет? — просыпается Рюрик.

— Точно! Молодец, Рюрик! — Миша воодушевляется. — Точнее не скажешь!.. Но одной головой и двумя руками многого не успеть... тем более положительного... даже если ты царь, даже если президент... да хоть папа римский... Тут чего-то хорошего сделает — там непорядок. Там поработает — тут разлад. Вот и кавардак кругом.

— Да ну!.. А дальше?

— А дальше, до последней капли исчерпав все возможности и, естественно, потеряв интерес, ни на секунду не задерживаясь, выпаривает он себя из той куклы прочь и плывёт по небу в поисках нового удобного персонажа для новых благодушных деяний.

— Интересно, — отзывается Рюрик задумчиво.

— Интересно-то интересно, — Миша говорит интригуя, — а забавно то, что и Бес действует абсолютно тем же способом. Делает свои дела нашими же, человеческими руками. Вот то-то и оно!.. — заканчивает он и, основательно изнурившись, падает обратно на нары.

— Да ну... — с недоверчивой уважительностью, почти неслышно бормочет Рюрик и, чуть подождав и будто набравшись решимости, спрашивает: — Миша, — спрашивает Рюрик, — а в тебя в тот день, когда ты жену того... кто-то влезал?

— Не знаю, — отвечает Миша, — надо бы подумать.

Шёл Рюрик в тот вечер домой мало того что в хорошем настроении, так ещё и с умеренным чувством гордости. Возгордился в себе немного Рюрик. За сопричастность свою к Мише возгордился и вообще за сопричастность ко всей человеческой расе в целом.

«Дай только народу волю и много лишнего времени, — думает Рюрик, шагая, — смотри!.. размах-то какой!.. мысли-то какие зарождаются!.. горы свернём!»

Вот такое вот и случилось ключом гаечным. А вам бы всё попрекать, всё торопить...

РОК И ФОРТУНА

Ну а Лёля с Митей — без подозрения. Всё бродят, всё хотят чего-то, всё надеются.

Завернули за угол, а там у подъезда контора с табличкой над дверьми. Трудно не заметить. Надпись чёрным по зелёному предупреждающе гласит: «*Запись Актёв Гражданского Состояния*». ЗАГС то бишь по-короткому. Очередной продукт слабоумной человеческой фантазии, что твоя партия, церковь, ВЛКСМ, инквизиция или тушёная капуста. Хорошо это у нас получается — капканы самим себе ставить.

Притормозил здесь Митя. Лёля тоже остановилась.

— Почему встали? — спрашивает Лёля. Молчит Митя.

Покуда он стоять будет в безмолвствии, неведомо откуда ожидая ответ на Лёлин вопрос, у нас есть время пошалить... Было бы неплохо дискуссию затеять. О судьбе как о явлении поразмыслить. В общих чертах попытаться понять, в чём таинство всего этого кроется.

Так если угодно, вот скажите, что вперёд было: яйцо или курица?

Ага... вот видите!.. И мы не знаем.

Был ли у Мити и Лёли выбор там шаг какой самостоятельный предпринять, или же за нас всё уже предначертано всеобщим вселенским раскладом?

Неоспоримо, что воззрение на понятие «Судьба» доставляет многим своего рода удобство... Комфорт души, если хотите. Ну а как же? Отдаёмся течению — да и пускай несёт, куда несёт. А что там впереди? Водопады, пороги... Ну и хрен с ними. Главное, что от нас грести не требуется!

Однако среди здравствующего населения встречаются и такие индивиды, которые, бесспорно, более прельщены версией «Рока и Фортуны». Жизнь им — что рулетка. Как новый день, так новая ставка. Выигрывают... проигрывают... Азарт сердца да ректальные корчи! Понять несложно, и там изюминка есть...

Что касается нашего личного отношения к вышезатронутой дилемме, то обязаны признаться в своём по сей день идейно неопределившемся состоянии. То с первыми согласны, а то, случается, и со вторыми в ногу идём — как минута подскажет.

А ежели всё-таки увериться в Роке и Фортуне, здесь уже разговор особый...

Отложив на время более значимые дела, прибыли они сюда подурочиться над Митей и Лёлей. Притаились, никем не замеченные, за углом и поджидают.

Досуг у них такой: над глубокооохмурёнными любовью парами дурачиться... И друг с другом поозорничать, партию сыграть — тоже не прочь.

Рок в те дни был несколько озадачен. Что-то у него в последнее время с работой никак не клеилось. Как-то происходящие события его обстоятельно раздражали.

Где-то назревала революция, кое-где замыслился переворот, перестройка и гласность газовали вовсю, и во всех случаях всё это, как назло, заканчивалось удачливо, во всяком случае для большинства. Для него же такой заворот являлся полным провалом. Фортуне, можно сказать, улыбалась фортуна. Обыгрывала она Рока, хитрюга. Рок же по этой причине ходил весь нервный. Вот и решился хотя бы сегодня отыграться. Мелочь, однако хоть какой-то праздник души...

Ходят Рок и Фортуна большей частью вместе... рука об руку ходят. Жизнь им друг без друга нелепа, да и как распознать, который из них кто, пока они рядышком оба личины свои не оголят? Вот и теперь дежурят у ЗАГСа, покуда парочка предначеченная не подоспеет. Ждут не

дождутся... Слюни аж ручейком стекают в предвкушении жаркой игры. До того возбуждены, что сами даже не замечают непристойности своего поведения. Потирая руки, обдумывают свои аргументы, стратегию выбирают, ходы наперёд считают. Одним словом, настраиваются, совсем как Ботвинники какие-то.

Хотя почему как? Расставили фигуры на чёрно-белые поля, кинули жребий.

Первый ход — белыми — за Фортуну:

— Ты, многоуважаемый Арнольд, даже не думай их сюда заманивать. Не дам я тебе в этот раз над людьми глумиться, — говорит она, сморкаясь в платочек. Висморкалась и двигает свою пешку с поля Е-два на поле Е-четыре.

Видать, насморк у неё. Глазки у бедняжки слезятся, носик покраснел, голова шалью замотана чёрной, мохеровой. Платье у Фортуны сегодня под шаль, такого же сурового мотива: могильно-чёрное, велюровое, нещадно облегающее. Руки в шёлковых кружевных перчатках, как вы уже догадались, тоже чёрных. Рок же, в противоположность ей, в шута вырядился. Всё по закону. Даже колпак шутовской и сапоги с бубенцами достал, проныра.

— Подружка моя милосердная, Клементина Мартыновна, — Рок отвечает, деликатно улыбаясь, — ты, кажись, прелести происходящего себе представить не желаешь. Их же никто не заманивает... Они же сами сюда идут...

— Сказал — и сыграл пешкой с Цэ-семь на Цэ-пять. Чувствуется, настроен воинственно.

— Ничего и не сюда. Сам знаешь, — перебивает Фортуна. — Шляются попусту, — и бесстрашно двигает свою ферзевую пешку на два шага вперёд, на поле Дэ-четыре.

— Нет, нет. Позволь мне с крайней убедительностью с тобой не согласиться, — Рок отвечает и, даже не думая, тут же берет пешку Фортуны своей пешкой с поля Цэ-пять. И снова говорит: — Будто не видишь ты... Посмотри, до чего он больно сильно поразить её желает, у него так и прёт из ушей. Наиколоссальнейшая у него сегодня к этому делу решительность замечается.

— А ты у нас не кто иной, как добрый Хоттабыч, выходит... — говорит Фортуна с издёвкой, жертвуя свою пешку, сделав ход с Цэ-два на Цэ-три, и дальше продолжает: — Давай-давай, топи их... топи... Ой-ой-ой, рыбка золотая... исполнительница желаний!..

Рок жертву опять-таки не задумываясь принимает, забирая с Цэ-три. Потом изрекает:

— Помнишь, на лекции одной Вильгельм Георгович нас учил: желание — оно есть самосознание?

— Ты меня здесь дядей Гегелем не страши, друг мой покорный, — Фортуна говорит в ответ и выходом коня на Цэ-три забирает пешку Рока, — мы с ним по маме родня, — и, загораясь некоторым энтузиазмом: — Подожди, подожди! Послушай! Идея возникла, думаю, понравится тебе. Видишь того толстячка?

— Который в шляпе, что ли? — в свою очередь тоже развивая коня с Бэ-восемь на Цэ-шесть.

— Ага, тот, — подтверждает Фортуна и снова с воодушевлением: — У него в кармане примерно тысяча рублей.

— Ну и?..

— Это я ему на той неделе сделку удачную подшвырнула... — и продолжает шёпотом: — Ты у него столик из кармана вырони, а я тем двоим подкину, пусть найдут.

— ?!

— Ну не гримасничай, Арнольд... согласишься, пожалуйста. Давай мириться на этом. И тебе потеха, и мне утешение. А тем — радость выпадет чрезмерная, да и польза тоже, — и скачет своим вторым конём на Эф-три.

— Ты, сестрица Клементина, вот честное слово, изумляешь меня каждый раз. Ну ладно, если и не каждый, однако всё-таки удивительно часто. У тебя что, воображение хворает? — упрекает Рок. — Фантазия в тупик заезжает? Сызнова деньгами вопрос решить пытаешься?

И, чуть подумав, играет пешкой с Е-семь на Е-шесть.

— Не я же их выдумывала, — защищается та. — Они же сами ими свою удачу мерят.

— Не-ет... Видать, перезабыла, чему нас учили: не в деньгах счастье, — Рок настаивательно.

— Ну и демагог!.. — возмущается Фортуна. — Кто-кто, но ты?! О счастье говоришь?! Заснуть и не проснуться! — и прыгает слоном на поле Цэ-четыре.

— Обижаешь, Клементина, — ей в ответ. — Я своё знаю. Коли бы не я, они же к счастью, как к копейке выроненной, обернуться поленились бы. Они же...

— Да ладно тебе... дурачком прикидываться, — перебивает Фортуна.

— Ты тут, понимаешь, святым, можно сказать, делом занят, — Рок за своё, одновременно делая на вид скромный ход ферзем на Цэ-семь, — а ей, видите ли, ярлыки навешивать. Демагогом меня обзывать! Дураком! Спасибо хоть не мизантропом!..

— Ну всё, прекрати... заладил, — пытается остановить его Фортуна, моментально делая рокировку.

— Нет чтоб хотя бы Янусом обозвали... — говорит Рок и выходит конём на Эф-шесть.

— Ишь, возомнил... праведник. — Фортуна ехидничает и шагает ферзём на Е-два, по-видимому, с идеей застраховать своего белого слона.

— Вот, к примеру, эти, что сюда идут... как их... Леонида и Митридат, — продолжает Рок. — Они же без понятия, как день свой прожить. Чего им, обжорам, не хватает, что они воду мутят-то? Вот как я им сейчас горчички с хреном в чай этот ихний заправлю, так будут после не то что о сладком — о пресном бредить.

Сказал и весело перепрыгнул конём в логово к белым, на Дже-четыре.

— Ты напрасно обиду свою на них не наваливай, — Фортуна говорит, высморкавшись. — Я их сама, признаться, особенно не баловала, — вздыхает: — Митридат совсем недавно, если не ошибаюсь, Восьмого марта, с одной разошёлся на почве полного взаимного непонимания. Дай парню передохнуть чуток. И у Леониды тоже — не сахар. Дома с потолка течёт, на площадке лестничной лампочка через день перегорает, на улице мужики глазами облапывают... Деваться страдалице некуда, — и, сыграв пешкой с Аш-два на Аш-три, нападает на дерзкого коня Рока.

— Пустяки всё это... ребячество, — Рок отмахивается. — Должно быть, братишка мой младший тешился, — и добавляет: — А с твоей стороны здесь, сестрица, форменное упущение, — и, усмехаясь, делает новый нахальный ход конём с Цэ-шесть на Дэ-четыре.

— Арнольд, ну согласись, пожалуйста, не упирайся, — просит Фортуна, искоса взглядываясь в доску, — дай им пройти в этот раз, а за мной должок будет. Мы же с тобой давай на рынок махнём. Подумай только, чего там наделать можно! Или давай на судебное заседание какое-нибудь... Этих же оставь... Невинные они.

Хотя и говорит всё это, тем не менее поняла уже: шансов нет, попалась.

— Невинными бывают дети, — Рок отвечает поучительно, — а невинные дяди да тёти... Это скорее пахнет глупостью.

Потом почесал себе подбородок:

— Гм... на рынок, говоришь? — переходя на заинтригованный тон: — А что, давно нас там не было... Пошли давай. А те двое... а им — Туда. Всё, уже послал я их. Должок же?... Забудь. Не даю я в долг да и не беру тоже.

Сказал, лихо не по годам подпрыгнул, встал на миг шутовски помпезно, зазвенел бубенцами и, пританцовывая, пошёл. А Фортуна следом поплелась — обиженная...

ЗАГС И СВАДЬБА

Митя же всё ещё стоит там, за ухом почёсывает.

— Ну, что встал, Мить? — тянет за руку Лёля. — Пошли уже.

— Давай зайдём, — решился Митя, указывая на массивную тяжёлую дверь с позеленевшей бронзовой ручкой.

— Туда?.. Это же ЗАГС! — Лёля в недоумении. — Зачем?!

— Ну и распишемся, что ли, — говорит Митя.

— Чего?!.

— Распишемся, говорю.

— Боюсь я что-то, — с робостью бормочет Лёля.

— Не бойся! — махнул рукой Митя и толкнул дверь.

Лёлю здесь аж волной розовой захлестнуло, хоть ныряй и плавай... Поглоштило её в бездну тёмную, секунд на десять там придержало и пробкой стрельнуло обратно.

Чередуются в Лёлином воображении всякого рода сцены из будущего её с Митей сожительства, точно как калейдоскоп жизни эдемской, дух захватывающий...

Представляет она себя обычным семейным утром: свежеискупанная... в халатике стёганом... мылом вкусно пахнет... Халатик уютненький, мягенький, беленький в бледно-салатовый горошек, чуть выше пухленьких коленок её. На опрятных ножках — тапочки ласковые, пушистые, в меху фиолетовом. В руках — поднос этакий модный, пластмассовый, с едой разнообразной. На лице — улыбка, излучающая чрезвычайное удовлетворение. Завтрак она милому в постель подаёт: «Доброе утро, светик мой ласковый, — говорит, — как спалось?»

А вот чудится, будто они с Митей в санаторий едут, в Кисловодск. Родня вся провожать на перроне столпилась. «Приятного вам отдыха, дети! — кричат, — Звоните!» И мама там, среди них, рукой машет, не отрывая взора от отъезжающего окошка. Бормочет что-то, тихонько упрятывая непослушную слезу в платочек. Переживает, волнуется, сердечная!

Ещё за стиркой Лёля себя видит. В тазике бельё пестрится, руки по локоть в пене. Трёт. Усердствует. После выглаживает всё это тщательно, ни одной складочки не пропуская, будто на выставку или даже в «А ну-ка, девушки!». А там и Митя в дверях: в руках провизия, еле тащит, пытит. Накупил всего, умница незаменимый!

Прокрутила до конца детальный обзор семейного рая, ещё раз ахнула и, быстро очухавшись, говорит:

— А что? — говорит вполголоса, боясь, как бы сказочность момента не потревожить. — Можно.

Митя же... тому хоть кирпичом по башке. Раз дали ему ЗАГС в руки, так ЗАГСу и быть. Философия у него по жизни — безнадежная: «Тронул — ходи». Ни разу, недоумок, о проделанном не сожалеет.

Насилу одолев тугую дверь, протолкнул Митя Лёлю через узенький проёмчик и сам, кое-как протиснувшись следом, очутился в небольшой, убого обставленной комнатухе. Приёмная, должно быть. Потревоженная пружина, кудахча, свирепо потянула дверь назад, и всё разом замолкло.

Не стало больше улицы... Не стало её безудержно зудящего чириканья, серенады визгов, скрежета и гудков... Пропал разноголосый фон мурлыканья, воя, лая и матерщины... Угасли свистки блюстителей автодорожной кутерьмы, загдох бой курантов... Тихо сразу стало, торжественно.

Вошли, значит, встали, спрашивают:

— Здесь расписывают?

А там женщина за столом сидит, с интересом на них пялится. Лицо разрисованное, сама разодета основательно: жакетик трикотажный под леопарда, рыжие волосы ободком собраны, сверху бант голубой торчит, в ушах серьги, до плеч провисающие, в форме рыбы (возможно, ставрида, но не исключено, что и горбуша). Ноги, видать, в сапожках запарились, так она их в домашники переобула, трёт одну об другую, массирует.

— Правильно пришли, — улыбается вежливо. — Добро пожаловать к нам расписываться, — говорит, — в передовое наше районное отделение. Присаживайтесь, молодые, вас позовут.

Наши сидеть не захотели. Расхаживают по приёмной, стены детально рассматривают, кодексы в рамках изучают, одним словом — просвещаются.

Рядом с фикусом, справа от двери, вымпел переходной на гвозде покачивается: *«Передовой участок по образцовым бракам»*, — и рядом стенгазета красочная прицеплена, за август: *«Лучшие из лучших»*.

У Лёли коленки подкашиваются... и сердце — то в пятки, то в живот. Тошнит, как на первом месяце, однако переносит девочка стойко, от жалоб воздерживается. Митино же сердце работать правильно пока ещё не перестало. Вдыхает Митя своевременно, вдыхает без помех и выдыхает тоже — гладко и в ритм. Пульс и другие жизненно важные функции — в допустимой норме.

Пока стенгазету прочитывали, вдохновляясь достижениями образцово-показательной семьи Харлашкиных, пригласили их в кабинет.

— Ну, — пытливо пронизывая им лица, допрашивает заведующая, — вступить в брак решились? — и, получив утвердительные кивки, продолжает: — Любите друг друга, стало быть?

Митя с Лёлей опять самоотверженно закивали.

— Знаем, знаем, — заведующая говорит, постукивая костлявыми пальцами по столу. — Мы, — говорит, — на этом деле не одну собаку съели. Нам здесь, — говорит, — «сегодня тисканье — завтра развод» не нужно. Мы, — говорит, — передовой участок, а не детский сад. У нас разводы до минимума доведены.

Смотрят Митя с Лёлей на неё молчаливо, глазами хлопают.

Хотелось бы здесь, конечно, передать ход их мыслей... Постараться прослышать, что у них в головушках в этот момент варилось... Однако по причине отсутствия каких-либо поступающих данных, в том смысле что на самом-то деле ничего съедобного практически у них там в это время не варилось, придётся замысел этот с глубоким сожалением отменить.

Заведующая же, не задерживаясь, продолжала своё:

— Даю я вам, дети, — говорит, — месяц на обдумывание. Хорошо обдумайте, чувства свои перестрадайте, с родственниками, с друзьями побеседуйте... у соседей спросите...

Хлопают те опять глазами, соглашаются.

Вручила заведующая им в руки по бумаге, приказав заполнить всё по порядку: фамилия, имя, отчество и так далее, словом — анкета. Заполнили прилежно, дату поставили, подписались.

— Ждём мы вас, значит, такого-то числа, — говорит заведующая, недоверчиво осматривая анкеты, — в десять утра: заключать акт.

Наши ещё раз прилежно закивали.

— Явиться со свидетелями... и паспорта не забудьте, — заведующая продолжает строго, — и чтоб не опаздывать! Нам в этот день не только вас...

Когда, снова с трудом пересилив дверь, вытолкнулись на улицу, Лёля настороженно спрашивает:

— Мить, а ты хорошо подумал или как всегда?

— Ну да, — Митя отвечает, — хорошо.

— И я — хорошо, — радостно, но тишком вздохнула Лёля. — Только боюсь я что-то.

— Не бойся! — проговорил Митя, прикуривая.

А через недолгий месяц всё было, как наметили, даже вдобавок с кое-какими сюрпризами.

Прибыли в десять, выстроились и вошли. При входе дверь та не приветливая всем по очереди — то в живот, то по ногам, то по физиономии. Точно так же и на выходе. Вышли в одиннадцать.

Пока ловили такси, вдруг невесть откуда по тёплому небу прошмыгнул бестолковый дождичек и, нарисовав над крышами бледноцветную радугу, очень всех этим своим нежным «знаком» порадовал.

Вечером в «Гоголе» сыграли скромную свадьбу. Заимели много подарков, разного полезного хлама. Было весело, хмельно... Правда, следующим утром их ожидал сюрприз: слегли молодожёны. Слегли аж на целые две недели. По причине острого кишечного расстройства. Положили их в инфекционное отделение районной больницы. Притом определили в разные палаты... Сколько ни старалась Лёля переубедить, сколько ни билась, мол, «мы же поженились только-только, отдельную палату бы нам», печати в паспортах показывала — безрезультатно всё.

«Здесь вам, девушка, не „Метрополь“, медовый месяц об-служивать, — сказала жеманно старшая сестра. — Скажите спасибо, что хоть на том же этаже койка нашлась».

Койки на том же этаже вскоре нашлись также для по очереди прибывающих Васи-тамады, гитариста оркестра, официанта Бори и ещё двенадцати гостей. Лечились все хором, играли в карты, домино...

Поправившись, Митя с Лёлей ограничились только половиной медового месяца, тем не менее не очень уж переживая по этом поводу... Не сломила эта двухнедельная помеха их духа. Даже «Гоголь» и тот простили с его недоброкачественным говяжьим студнем.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ, МИТИНА ХВОРЬ И ЛЕЧЕНИЕ

Переселился Митя к Лёле налегке. Принёс с собой семь пар носков, три пары нижнего белья, два платка, две пары джинсов, потёртую замшевую куртку, один свитер, три рубашки, столько же летних маек, четыре пары обуви, две синие шариковые ручки с колпачками и одну, что с красными чернилами, без колпачка. Ещё принёс общую тетрадь в клетку, импортную расчёску, солнцезащитные очки в футляре, свой паспорт, несколько кассет с любимой музыкой, сборник рассказов «Фантазёры» в замусоленной обложке, заложенный посередине открыткой с образом Христа, и переводной словарь — с нашего на английский, в двадцать тысяч слов. Следует также упомянуть, во что он в тот день был выряжен. Выцветшие серые трусы просвечивались сквозь до изнеможения изношенные джинсы. Коричневые ботинки со дня на день ожидали своей кончины. Поверх сорочки в сине-зелёную клетку был натянут любимый пуловер с жаккардовыми ромбиками. Сверху висела прожжённая в двух местах сигаретой бежевая безрукавка, в кармане — неполная пачка жевательной резинки и прямоугольничком сложенные купюры на сумму сорок пять рублей. Да, и про носочки не забыть бы: белые, в три полоски — «Адидас», как-никак. По пути ещё прихватил из магазина три пачки сигарет (в результате денег стало на девяносто копеек меньше) ... И пошла у них с Лёлей с этой точки общая совместная жизнь. Жили как все, без особой натуги...

Хотя что тут душой кривить-то?.. Бывало, конечно, проблемки возникали; осложнения случались, бывало... однако слабого, незначительного порядка: чего-то вдруг не хватает, чего-то недостаёт... или чего-то, напротив, свыше меры... Повздорят... повздыхают... помирятся... Ну а как семье нормальной без это- го-то?

Жили бы себе в этакой беспроигрышно-безвыигрышной идиллии, если б ни с того ни с сего с Митей не произошёл крайне каверзный случай. Пришла к нему беда. Страшный диагноз обнаружился... полухронический.

Завелась у Мити эмиграционная глиста. *Helminthiasis Emigrational*. Нашла дорогу, пиявка злостная, через слуховой проход да евстахиеву трубу, тайком проползла по трахее и, добравшись до живота, засела там, видимо, надолго. Точит она оттуда Митю, точит, истачивает самозабвенно. Просто-напросто жизнь ему семейную портит.

Не слышать бы ему слухов этих о Западе, да от них ведь спасения нет.

Надо здесь сказать, что эмиграция — порода по сути своей бесхитростная, однако при всей этой бесхитростности — удивительно малоизученная. Тут и понятно, почему она вызывает к себе столь неимоверный интерес... Как любопытство со стороны широких масс городского и прочего населения (в основном идейно неподкованного), так и заслуженное внимание узких, всё редееющих пластов тружеников умственного труда и работников культурных дел. Представьте, даже партийно-номенклатурное чиновничество, бывает, вдруг возьмёт да и укладкой глянет в ту сторону.

Давным-давно, ещё во времена наркомов, движение это приняло у нас на родине массовый, едва не эпидемический характер, унося за пределы границы многих наших ценных соотечественников. Опомнившись, соответствующие органы разработали методы всеобщей противоэмиграционной вакцинации, что практически разрешило проблему не только самой эмиграции, но заодно и всякого рода другой возможной миграции. Правда, случались ещё редкие всплески и волны, но уже несравнимо мелкой шкалы.

Со временем же у нас к этой идеологической прививке взял да выработался иммунитет. Добавим, что иммунитет сложился также ко всей остальной тарабарщине окружающего быта

и празднобравурной действительности. Ну и как следствие этого, в атмосфере общественного сознания стали обнаруживаться всякие незапланированные всякости. Не уберечься никак

Сидим мы вечерами у себя дома... или же, чаще всего, в гостях сидим... Чаи попиваем, варенья в розеточки накладываем. Общаемся, словом. Заодно время проматываем... А время, оно ведь как... Приходит всегда этак шаловливо, потом незаметно хвостиком вильнёт — и враз уйдёт восвояси таким же шаловливым манером. Не задерживается никогда. И будь то в привычной суматохе обыденности или при досужей ленивой бездеятельности — независимо, на душе веселье или же жизнь поганая дышать не даёт, — для всех в своей постоянной изменчивости оно одинаково. Уразуметь понятие это человеческому существу — ну не по силам пока никак. Бьются учёные головы, дерутся, философствуют... Вертятся вокруг да около — постичь никак им не даётся.

Постичь не постигли, но, отдадим должное, измерять научились здорово. Выдумали часы и давай всей толпой под тиканье жить. С гудком — на завод; со звонком — на урок; под трубу сигнальную — на плац да вперёд: маршировать с песней радужной, жизнеутверждающей (сто двадцать шагов в минуту).

Шагаем, живём, никому не мешаем... свыклись вроде бы. И вдруг посреди всей этой какофонии однообразия доходят до нас довольно-таки странные и дивные слухи. Молва идёт о каких-то злчных местах, где в наличии не только несметные богатства да сокровища, но и якобы все необходимые удобства и условия взять весь этот капитал — да и по своему усмотрению израсходовать.

Разговоры перешёптываются налево-направо — мимо ни пройти ни проехать.

Вот едет Митя куда-то, скажем, в троллейбусе... Заплатил свои пять копеек и мирно куда надо направляется. Расселся... Рядом никого. От скуки в окошко замызанное выглядывает, внешним миром забавляется да и невзначай подслушивает разговор.

Сидят спереди две гражданки и шушукаются нескромно. Одна брюнетка (но точно перекрашенная) — она справа сидит, а та, что рядом, у окна, — та блондинка, хотя тоже, похоже, ненатуральная.

Блондинка говорит брюнетке:

— А Славик этот... вообще отпад!..

— Это ты о ком? — спрашивает брюнетка. — Людмилы сын, что ли?

— Не-е-ет... Людкин сын, говорят, на Север на заработки подался, — отвечает первая.

— Я про Степана брата — Славика говорю, с соседнего двора.

— Так это ты о Слабике, что ли?!

— Да-да... и вправду Слабик! — прыскает. — Я же забыла! Он же «вэ» никак выговорить не мог, бедняга! Помнишь, на школьных линейках умора какая была? Как «Бсегда готов!» заорёт, так мы все падали!

Подруга, хихикая, соглашается, покивая головой, синхронно весело позвякивая странноватыми серьгами, смахивающими на связку ключей.

— Так вот, он сейчас там в машине длиннющей разъезжает без крыши, — продолжает блондинка, понизив голос. — Сама фотки видела. Степан показывал. Сидит за рулём, меж перстнями сигарета дымится, в другой руке бутылка кока-колы. Солидный весь, серьёзный. Усы тоненькие, как рисованные... не узнать совсем. Я даже засомневалась вначале — он ли это? Но нет — он, всё-таки. Там на другой фотке номера машины видны. Так и читается: SLAVIK23.

— Кто б подумал, а?! — сокрушённо покачивая головой, говорит брюнетка, ещё больше взбудораживая трезвон свисающих серёг.

После недолгой паузы, вызванной исполнением обязательств каждого добропорядочного пассажира общественного транспорта, а именно сопричастием к эстафете передачи очередного талончика туда-обратно с целью компостирования, беседа возобновляется. В этот раз начинает брюнетка:

— А я про фарца того слыхала... Да знаешь ты его... шатался вечно с сумкой фирменной через плечо.

— А-а-а... Павлик! — соглашается блондинка. Как звали, не помню, — брюнетка продолжает, — может, и Павлик. Филипп твой у него свои первые джинсы покупал.

— «Вранглер»... облегающие, на полных два размера меньше! — добавляет блондинка, смеясь. — Стыд и срам... Ходил по городу как балерон.

— Теперь и Павлик этот переехал... Говорят, в каком-то ихнем органе работает. Нынче сам контрабандистов да фарцов тамошних ловит. Хорошо платят ему, говорят. Каждый год у моря отдыхает, говорят.

— А Цезарь-то!.. Цезарь!.. Тот вообще, слышала, империю себе целую заимел. Не то с мусором связанное что-то, не то с канализацией, — прибирает инициативу разговора в свои руки блондинка. — У него там чуть ли не монополия на дело это. Зажирел, говорят, безмерно.

Получив в ответ вопросительный перезвон серёг, блондинка досадливо продолжает:

— Лизка!.. Ну ты что?! И Цезаря не помнишь, что ли? Ну вспомни, ну... брюшковатый тот... с пуделем своим к нам во двор приходил. У Томки под окном торчал... «Цезарь, к ноге! Цезарь, к ноге!» Так мы его по собаке и окрестили.

Соседка энергично закивала, радостно и подтверждающе звякнув.

— Спотыкался он через каждые два шага, если помнишь. Ну а как было бедняге не спотыкаться-то? У него ведь нос хронически к небу задран был, под ноги смотреть не давал. Ещё говорят, — переходя на шёпот, продолжает блондинка, — будто он свой бюст из мрамора заказал на манер Цезаря римского и у камина поставил. Всё чин чинарём: туника на плечах, венки лавровый за ушами. Да... знает парень толк в жизни!

Слышим всё такое, пересказываем друг другу, да в души наши смятение закрадывается. Следом надежда просыпается, ночами спать не дающая. Тревожно, знобко, будто дождик холодный за шкурку накапывает. Страшно думать, с каждым днём уходящим благ каких себя лишаем... Удовольствий каких не познаём из-за лени нашей уютной.

Нет... не простим себе, если не попытаемся...

И Митя, стало быть, здесь не исключение. Бедный, покоя больше не знает, сон потерял, пищу принимать не в состоянии. Нет ему более отрады от света дневного... да и от ночи тоже снисхождения ни капельки не достаётся. Истасканный ходит весь, хмурым.

— Исцеление здесь одно, — говорит, — Лёлька, спутница жизни моей... Вынужден обрадовать: придётся нам с тобой смотаться в Америку. Там, — говорит, — червяка этого гнусного живо из меня выудят. Нутром знаю.

Лёля же — душа весьма патриотическая. Ах, как Лёле никуда переезжать не желается. Привыкшая она сильно к привычному, перемен — ужас до чего не любит. Решила Митю сама от болячки излечить. Чего только, искусница, не испробовала!..

Вначале ласками да поцелуями пыталась паразита из Мити выманить. Помогало, что ни говори. Отпускали его муки каторжные... Правда, ненадолго: на часик, может быть, не дольше. Хотя и то, можно сказать, — упоение. Следом Митю обратно в хандрину давить уносило.

Вскоре у червяка к Лёлиному чародейству сформировался устойчивый иммунитет. Не клюёт больше змей проклятый на уловки сластолюбивые, на нежности внимание обращать перестал. Перешла Лёля плавно на компрессы и обтирания. То водочкой его обмоет, то уксусом обшлёпает... Разок не поскупились, даже коньяком французским по Мите всему прошлась.

Душок у них дома парил — точно как в баре валютном... Да ведь не спасает алхимия мужа. Охает тот без перебою, всё эмигрировать настаивает.

Телефон с утра трезвонить не перестаёт. Звонят все с советами и рекомендациями... подсказывают.

Бабушка Катя как-то дозвонилась, кричит деловито:

— Внученька, родненькая!.. — кричит. — Разузнала я, чего делать надобно с золотцем нашим. Берёшь, солнышко ты моё, тазь... Красный тот бери, подарочек мой который, основательно подойдёт... Не потеряла авось?

— Есть тазик, бабуль, — успокаивает Лёля, — конечно же, не потеряла.

— Вот и лады! — бабушка продолжает. — Три бутылки шампани туда опорожни, полусухой... Пробки, смотри, отложи, не выкидывай — небось сгодятся когда...

Лёля вся во внимании, записывает скрупулёзно, а бабушка диктует:

— Лёду туда добавь с полведра, щепоточку марганцовки разбавь и ноги его голышом в тазик тот... Пушай сидит, голубь мой, спорт глядит.

— Бабуль, где же мне шампанское достать-то? — Лёля ноет вопрошающе. — Праздники же на носу.

— А ты в магазине шибко-шибко упроси, пряничек мой, — бабушка советует, — скажи, по болезни нуждаемся. Скажи... как его... летательный исход случиться может, коли шампани не доставить. Народ не без сердца нонче — подмогут. Ах... да! Кедрова моя голова! — продолжает. — Чуть не позабыла. Сидеть ему ногами в тазу том полных сорок шесть минут. И перчику туда подсыпать не забудь, внученька. Перчик больному завсегда в помощь.

На второй день обстряпала Лёля ванну, точно как бабушка Катя велела, и усадила Митю в кресло — смотреть хоккей.

А Мите несладко. Дрожит мелкой дрожью, удел свой проклиняет.

— Терпи, Митридат, — Лёля приказывает. — Мне ради шампанского этого чуть было с продавцом переспать не пришлось. На вот, чаю попей...

Потягивает Митя горячий чай, а сам окован почти. Вперился пасмурным взглядом в телевизор, игру никак в толк не возьмёт, да и за кого болеть, не знает, — за наших или за тех, за американцев.

Первый период завершился нулевой ничьей, а Митины ноги тем временем багряным отдают. Забеспокоился Митя, запереживал. Позвал Лёлю жаловаться.

— Это от марганцовки, милый, — успокаивает Лёля. — Сиди, сладкий мой, сиди... терпи... Святое дело делаем.

Сидит Митя, покорно страдает.

К середине второго периода изловчился Первухин заслать тем в ворота шайбу. Воодушевился Озеров, безостановочно восторгается, буйствует, кричит что-то — большей частью не о хоккее... Мите же не до гола... Уставился вниз, ног своих не ощущает. По лодыжкам синева пошла с зеленоватым переливом, кое-где даже желтизна проступила. Тычет туда Митя пальцем, тычет... Да что тычь, что не тычь... Чувств никаких в ногах не осталось.

Ужаснулся Митя сильно. Вторично Лёлю зовёт.

— Лёль, — молвит хриплым голосом, — я, пожалуй, догадываюсь, к чему ты тут хоккей этот мне с прорубью подстроила. Ты мне, — говорит обиженно, — обмораживание организовываешь с последующей ампутацией. Небось на костыли меня поставить хочешь... в инвалиды записать... Охоту уезжать надумала отбить, как я погляжу, таким вот радикальным способом... Кому я там безногий нужен?!

Лёле этот Митин бред слушать вовсе не интересно, однако натюрморт в тазике и её тоже как-то насторожил. Недолго думая, говорит:

— Давай, Мить, — говорит, — пока я за полотенцем пойду, вырубай хоккей.

Обогрелись Митины ноги, от холода отошли, а глиста эта, дармоедина праздная, мать её за ногу, — тут как тут, заново своё напоминает. Хвораёт Митя дальше, бездельничает.

Стёпа, одноклассник Митин, в перерыв свой заскочил. С идеей, говорит, пришёл, — с эврикой. Ещё и пончики притащил свежие с кремом. Сидят с Митей вдвоём, пончики жуют.

— Я вот, Митя, что надумал... — начал Стёпа с полным ртом. — Ты, однако, скептицизм свой побереги, разом идею не отбрасывай, выслушай.

Митя тактично слушает, не перебивает, а Стёпа говорит:

— Я тут над проблемой твоей, — говорит, — день и ночь башкой об стенку... Использовал я, понимаешь, всю свою природную логику.

Говорит... и с каждым словом энтузиазмом загораётся. Вытер рот салфеткой и продолжает так:

— У тебя там, надо понимать, червячок в желудке расположился. Правильно говорю?

— Ну... — подтверждает Митя.

— Питается он тобой, нахлебник, вижу — кожа да кости.

— Ну... — соглашается Митя.

— Нам здесь, братан, необходимо использовать стратегию «клин клином вышибают».

— Ну?... — мычит Митя.

— Берём мы, значит, какую-нибудь рыбку домашнюю, — говорит Стёпа, — небольшую, ну так, с мизинец или поменьше. Думаю, пучеглазка подойдёт, но и гурами можно попробовать...

— Та-ак... — Митя.

— Устраиваем этой кильке голодание дня на два, на три.

— Ну и?... — Митя в ожидании.

— Ну и ты заодно столько же голодать должен, — Стёпа говорит, — для полного эффекта. Берёшь затем эту рыбку за хвостик да и заглатываешь нежно. Кусать-откусывать — ни-ни. Она нам в животе твоём целёхонькая нужна.

— Ну?! — Митя сердито.

— Ну что — ну? — Стёпа восторженно. — Что у тебя в животе сидит три дня не евши, спрашивается? Животное сидит некормленное!.. Что же, снова спрашивается, голодной скотине первым делом требуется?

Глядит Митя на Стёпу исподлобья, не знает, чего сказать. Нет, знать-то знает, просто не говорит пока. А Стёпа, укусив новый пончик, продолжает:

— Жрать ей подавай, башка твоя нездоровая! Она же пищу искать станет. А в желудке-то твоём после голодовки — шаром покати. Ни овощей, ни фруктов, ни протеину. Чем же, спрашивается, рыбке нашей там аппетит свой утолить?

— Глистой, наверное, — Митя уныло.

— Умница! — Стёпа радостно вскакивает. — Ну?! Не гениально разве?!

— Ты, Степан, — Митя отвечает, немного помолчав, — видно, точно головой об стенку долбанул. Хорошо, что Лёли дома нет, — говорит, — котелок ты дырявый, не то она меня сразу после твоего выступления на рыбоглотание посадила бы. Давай, — говорит, — Архимед нашего времени, иди-ка ты со своими пончиками...

И послал Митя Стёпу в неприличном — пером не скажешь — направлении.

Соседка Варя к вечеру заглянула. В одной руке здоровенная клизма, в другой — стакан минеральной воды и пустая банка от маринованных огурцов. Спрашивает:

— Пиво дома есть?

— Пиво? Нет, нету пива, — Лёля отвечает, — но квас есть.

— Не-е, здесь квас один не подойдёт, — Варя говорит. — Давай, Лёль, живо за пивом, — командует.

Пока Лёля бегала за бутылкой пива, уговорила Варвара Митю прополоскать кишечник.

— Мы сейчас тебе туда, Митька, такое запустим, что ни одна тварь чужаядная не выживет, — обещает.

Вернулась Лёля с «Жигулёвским».

Перемешала Варя пиво с нарзаном, для оттенка плеснула туда чуть-чуть квасу, пару раз бойко взболтнула... А там, в банке, пузыри бесятся, пена шипя извергается, прямо неприлично даже...

Варвара, однако, недовольна. Нисколько не удовлетворена.

— Что у тебя дома есть плохое, Лёль? — спрашивает.

— В смысле плохое?.. — переспрашивает Лёля, хлопая глазами.

— Ну, испорченное что-нибудь имеется?

— Задумалась Лёля. «Утюг есть перегоревший, — думает, — будильник тоже не работает. Что ещё?»

— У нас там бумажный клей в чулане, — предлагает Митя, — скис точно, не клеит ничего.

От клея всё-таки решили отказаться. Взамен обнаружилось тухлое яйцо. Привередливый Митя на желток ни в какую не согласился. Пришлось довольствоваться одним белком.

Зарядили грушу дивным Варвариним зельем, уложили Митю на живот, подстелив вокруг газетками и чем попало, и через одно неудобное место сразу, одним залпом запустили всё это в Митю.

Завыл горемыка жутким голосом... Всех по матушке прямым текстом кроет... К Варе обратился, по Лёле прошёлся... оригинальничает вовсю, будто музу сквернословия в него впрыснули. Умудрился даже бабушку Катю фамильярным способом затронуть.

Булькает задница, гулькает, гейзером выстреливает. Варя с Лёлей же своевременно из комнаты выпрыгнули. Затаились за дверью, выжидают.

Поблеял Митя жалобно ещё с минуту и затих. Подкрались те тихонько... прислушиваются.

— Заснул вроде бы, — радостно обнимаются, — похрапывает! Всё в комнате быстренько прибрали, жидкость с Мити бесследно отмыли, его всего обтёрли, пледом укрыли, а сами на кухню — кофе готовить, лечение обсуждать...

Очнувшись в сером полумраке ночи, Митя обнаружил себя в унылом одиночестве. Объедало то, в утробе у него, ничтожество подлое, так и рвёт и мечет свирепой мстью... Мятажничает сильно. От смеси этой поганой, кажись, мутация у него развилась — в неблагополучную для Мити сторону.

Печаль ему когтями сердце разрывает и, будто этого мало, ещё и зубами в душу впиалась да пережёвывает, не унимаясь. Чахнет Митя в меланхолии, сохнет. Как оставили его девчата — голой попой наверх, пледом поверху, — так и, не шевельнувшись, покорно пролежал до зари.

Кушетка под ним жёсткая, ай какая лежать неудобная... Часики настенные — тик-так, тик-так — семь утра уже оттикали... Тиканьем своим кровь ему портят.

А к восьми часам в дополнение к прежним затруднениям у Мити в самочувствии начало выявляться твёрдое недовольство. Появилась раздражённость по предлогу глубокого телесного дискомфорта.

Шарит глазами по стене напротив, предмет интереса пытается найти. Нудное время как-нибудь занять хочется. Безуспешно, однако... Должно быть, исчерпала себя стена. Все трещинки и дырочки уже пересчитал, все пятнышки поприметил... Тоска пахучая...

«Нет чтоб хоть букашка какая-нибудь выползла», — хнычет мысленно.

Перевалился Митя, кряхтя, кое-как на бок и сквозь еле дышащее мерцание утреннего света Лёлю видит...

Разлеглась Лёля на просторной турецкой тахте поверх мягкой перины. Лежит широко, почти по диагонали... Одеяло в сторону сбросила, ладненькие ножки раскинула, подушки все руками обхватила... Точно как за двоих ей спать наказали.

«Сейчас мне её будить, — Митя раздумывает, — или подождать, пока сама проснётся?»

Созерцает её спящую и, явно видно, фундаментально умиляется. Есть же чем...

Пуговка на пижамке у Лёли удачно расстегнулась, выпустив из заточения на волю всю левую грудь... Ни много ни мало магнит для глаз, прямо индустриальный!..

Лоснится та оттуда обвораживающе, манит его к себе горделивостью своей обнажённой, нежной упругостью поддразнивает да сладостью лакомой искушает. Ещё и локоны золотоцветные по плечам Лёлиным небрежно распущены, видать, для пущей обольстительности.

Не только Митя один, но и изувер этот, зверь бездушный, чувствуется, слюной обливается, про Митю позабыл. Тут у Мити в животе что-то деликатно пикнуло, спешно зарядив его игривым энтузиазмом. Зашевелился Митя... Сползти старается с кушетки этой опротивевшей. К желанной Лёле рвётся... да зацепил, недотёпа, ногой что-то, с грохотом опрокинул.

Лёля, во сне учуяв шум, в недовольствии перекатилась на бочок, рывком натянув на себя одеяло, и тифановскому полотну наступил капут.

Лежит она уже к Мите задом, загасив, сама того не ведая, свежеразгорающийся костёрчик сакральной похоти.

Смотрит Митя, рассматривает, вздыхает с сожалением... И червяку, видно, композиция новая не по душе пришлась. Со свежей яростью, сукин сын, за своё. Зачаровывает теперь Митю сказочно-содержательными видениями, напичканными не одетыми девицами.

Извивается одна красавица перед Митей в сантиметре от носа, всей своей оголённой плотью вырисовывая гипнотическую спираль. То возьмёт слева направо повертит, потом — справа налево... Чередует умело... с хорошим спортивно-артистическим вкусом. По телу ручейки потные катятся, заманчиво переливаясь радужными цветами... да не притронуться ко всему этому, не вкусить. Мираж искушитель ползучий ему подсунул, самцовым вождением уломать норовит.

Кавардачный вихрь в Митиной голове заставил его лечь обратно. Хорошо хоть поза теперь другая... лежать много легче.

Лежит, значит, Митя на спине и на люстру хрустальную поглядывает. Кристаллики, правда, ненастоящие, но висят абсолютно прилично и пересвечиваются вполне законно.

«Да-а... — предаётся раздумью Митя. — Поди и пойми разумность наших желаний. Вот, пожалуйста: Лёля хрустальную люстру под потолок пожелала, так я ей эту, липовую, за девятнадцать рублей, повесил. Не догадывается, наивная... А чего мыкаться было бы, три сотни одалживать, блат в универмаге выискивать?... С тем чтоб эти копеечные лампочки богато смотрелись? Кто рискнёт сказать, что стекло это не импортное? Я сам порой забываю. А нас хлебом не корми... Дурим себе головы какой-нибудь напридуманной охотой... а после же — гонимся за поживой этой из шкуры вон... Нет чтоб довольствоваться имеющейся порцией... насытиться ею, расслабиться...

Вот и я теперь... пример типичной ненасытности. Ну какого хрена, спрашивается, червяку этому, подхалиму, безостановочно меня тревожить? Во-первых, делаю что хочу... По утрам спозаранку вставать нужды нет. Увольнять ведь никто не посмеет таланта такого, как я, самородка... Со мной даже дирекция за руку здоровается, Адам Каллистратович. Во-вторых, супруга, вон, в постели укутана, она же мне круче любой мамзели. Плюс и готовит бесподобно... Обед, слава богу, на столе вовремя, жаловаться не приходится. Друзья — это в-

третьих — благожелательные, всегда под рукой, коли в подмоге нужда. Чего же ещё мне, прихлебале жадному, не хватает-то? Не жизнь у меня, а прямо-таки сметана разливная!»

Размышляет Митя, умничать пробует, дурь вонючую самоосуждением из себя выбить пытается, но, как видится, не дано это... Засел червь этот глубоко, основательно засел. Дождался Митя, пока Лёля проснулась.

Подошла она к нему, спросонья пошатываясь, отирая ладошками с глаз сонный хмель. Присела рядом на кушетку.

— Как ты, милый? — хрипит нежно.

Всматривается Митя в личико родное, утреннее, без ненужного марафета... Заботливо изучает. Заглянул в её томные очи, впрочем, долго там не задерживаясь, опасаясь, дабы в пучину тысячемильную не затянуло. Румянец на щёчках приметил. Свой румянец притом, некрашенный... тоже любит. Губы пухлые, смачные, естественным блеском отсвечивают... дразнят дико.

Отвернулся Митя в сторону, протёр с глаз липучую пелену ночных страданий, кое-как собрался с мыслями и, повернувшись обратно к Лёле, выложил свои суждения так:

— Лёля, супруга моя единственная, верноподданная, — Митя говорит, — выслушай, — говорит повелительно, — и, пожалуйста, не перебивай.

Лёля в ожидании насторожилась, а Митя смотрит на неё в упор и продолжает дальше:

— Данный вопрос, — говорит, — требует неотлагательного решения. Шутить будем завтра... Как нам известно, — говорит, — милосердная моя, захворал я этой порчей.

— Знаю, сладкий, знаю, — тяжело вздыхает Лёля.

— Так вот, — продолжает Митя, — доктор ты мой Айболит... врачевание наше, сама свидетель, мало какой результат даёт. Я даже вынужден добавить, что метастаза от этого пошла по всему, видишь ли, организму.

— Мне сегодня, — Лёля перебивает, поглаживая ему руку, — Фенька водку обещала занести какую-то диковинную, мексиканскую. Варят из чего-то... она говорила, не помню. У них не знаю откуда с полбутылки есть. Почему бы нам не попробовать?

— Нет уж, спасибо, — убирает руку Митя, — я после твоего лечения ни в какую дверь войти не могу. Шарахаются все от меня в разные стороны, бегут в милицию звонить, вытрезвителем грозятся.

— Сам виноват, — Лёля в ответ, — говорят же лежать тебе постельным режимом, покуда не выздоровел. А ты ходишь туда-сюда, заходишь куда не надо — вот и такого рода неприятности.

— Ты мне здесь, сладость сердца моего, — продолжает Митя в досаде, — зубы не заговаривай. Не удалось пока нашей с вами местной медицине пилюлю от этой болячки выдумать.

Молчит Лёля. Не получается у неё на Митин аргумент возражения найти. Пуговицей нервными пальчиками тешится, теребит, крутит, оторвала почти... А Митя тем временем дальше говорит:

— Вот Петька, к примеру сказать, Наташкин целый год от похожего расстройства таял. Куда они только не обращались, скольких знахарей перевидали... И что теперь?! Загорает теперь Пётр в Майями, нежится небось ежедневно под валютным флоридским солнцем. Уже второй сезон притом... Ну и Наташа тоже, добавлю, вместе с ним тем же балуется. А почему бы нет? Вдвоём же переехали. Хвори той, говорят, в первый же день фьют — и след простыл. Ихняя пища, слышал, бог знает чем напичкана... Всё, что живое в желудке, губит мгновенным образом. Наука!

Лёле же направление Митиных мыслей совершенно не по душе и от категоричности в голосе тоже как-то неуютно. Запнулась вся, ничего выразить не может.

— Я вот что тебе скажу, кормилица, — Митя говорит, немного приподымаясь с кушетки. — Я сейчас тебе заявление говорить буду, ты, однако, — говорит, — повторяю, перебивать воздержись, пока не dokonчу.

Лёля нехотя соглашается, выбирать-то ведь не из чего. Выражается Митя сегодня уж более чем грозно.

— Даю я тебе на обдумывание два дня... Два дня даю — не дольше. Выбирай сама, что тебе более по сердцу. Или подаёмся мы в дальнюю Калифорнию, где мой недуг в один приём развеется дымом, или же со дня на день придётся тебе мне могилку рыть — на все полтора метра. И съедят меня черви эти похотливые не только изнутри, как сегодня грызут, но и снаружи... Сожрут всего, ничего не оставят. Вот так вот, мать, голосуй, как душа скамандует.

ЛЁЛИНЫ ДУМЫ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Ушла Лёля думать. Думала, думствовала, два дня и две ночи размышляла.

Кончину супруга своего премилого никак представить не могла. Не то что с воображением у Лёли туговато было... Нет, совсем противоположно. Воображение у неё было что ни на есть классное, радикально развитое. Взяла и разыграла в голове фантазмагорию трагических событий во всей палитре красно-чёрных тонов.

Друзей-знакомых Митиных видит... Лица небритые — с прошлой недели, видать. Скорбь отображают — образцово. Стопились гурьбой перед дверьми на лестничной площадке, активно курят-перекуривают, вздохи печальные выпускают... Ещё и пепел куда попало стряхивают, сорят вокруг, плюются.

Родня со всех краёв съехалась. Стопились вокруг Мити: рыдают, шушукаются.

Видит, как с восьмого этажа по лестнице во двор его спускают. Ну и мука же поворот этот пятнадцать раз проделывать! Соседи сердобольные из квартир выбегают с ценными указаниями: где приподнять, когда развернуться. Слава господу, благополучно добрались до низу, не выронили.

Выползают чинно из подъезда, а там — тут как тут — оркестр медно-духовой минорным скулежом встречает, повально всю публику промачивая дикой жалостью. В секунду женская масса запестрела платками, мужики же покамест держатся, только лишь носами шмыгают.

За тузовым деревом, что рядом со скамейкой у родничка, кипит полемика: неслышная, однако по бешеной жестикуляции рук сразу скажешь — чересчур страстная. Это дяди их дискуссируют... Никак не договорятся, докуда процессии пешком топать.

Лёлин дядя Багратион, через слово отирая со лба сальный перегар пылкого темперамента, шёпотом рычит:

— Неужто вы, Артур, не в состоянии предвидеть? Не дадут же они нам целых пять улиц идти... — выдавливая он сердито и начинает мельницей размахивать над головой руками, по-видимому, стараясь таким способом обрисовать недостижимость далёкой пятой улицы.

— Багратион Русланыч, — не менее полнозвучным шёпотом отвечает Артур, брат Митиной мамы, равным образом не скупясь на энергичную работу рук, — не пытаетесь ли вы предположить, будто они нам в такой день дорогу перекроют?..

— Перекрыть-то не перекроют, — отвечает Русланыч, — но всё же могут солидно штрафнуть. Согласитесь, Артур, — упрощает. — Три улицы пойдём — до скверика с памятником, вполне даже достаточно... Да и людей пощадите — гонять столько...

— Не для того племянник мой помер, — всхлипывает Артур, — чтоб его всего-навсего какие-то три улицы несли... Тем более что памятник тот он вовсе и не любил никогда.

Вскоре, сторговавшись на четыре улицы, до булочной (не до

«Кренделя», что слева, рядом с сапожником, а до той, что чуть дальше, по правую сторону, — «Совхлеб №2»), ударили дяди по рукам, ну и двинулись.

Плывёт кортеж по проспекту, под шаг Шопена зевая зазывая, смотрите, мол, люди, Кого несут! За Митей, выдерживая почтительную дистанцию в шесть-семь шагов, понуриив головы, плетётся в чёрном скорбящий народ.

Впереди женщины идут, взявшись под руки, тихонько всхлипывают и скулят. Глаза влажные, носики раскрасневшиеся, платками суматошно орудуют. Вслед за ними мужчины — щетинистые, некупанные — ступают тяжело. Один только Митя приглажен и прилизан, ну и подрумянён слегка. Покачивается головушка Митина... то влево повернёт, то направо посмотрит — мирно как-то, без претензии. А потому покачивается, что несут его неровно, не в ногу, очевидно, несут.

Там и себя Лёля видит... Топают в первом ряду посередке, по обе стороны с подругами обнявшись, с Люлей и с Мухой. Грациозно очень все три ступают... ножки в чулочках чёрных элегантных...

У кого и когда это вышло Олимпиаду окрестить Мухой — никто и не помнил уже. Многие даже и понятия не имели, что Олимпиадой она по метрике пишется. А вот «Муха» прилипла к ней идеально, должно быть, из-за природы её болтливой. Жужжала да жужжала безостановочно. Даже родителям её имя это пришлось по душе. Когда же любя обращались, то Мошкой называли. Сама тоже иначе как Мухой себя не признавала. А если вам Муху было подразнить охота с твёрдым намерением вывести из равновесия, то здесь вернее всего было обозвать её Олимпиадочкой. Доказанный вариант, работал безотказно.

Лёля с Мухой вплоть до сегодняшнего дня были в разладе... и истинная причина взаимной обиды крылась совсем не в том, что во время последней ссоры Лёля безжалостно употребила вышеупомянутый метод, обозвав Муху по метрике, в отместку схлопотав не менее эффективное «Блядь ты, Лёля, вот ты кто», а в расхождении мнений на предмет количества употребляемых яиц в рецепте заварного крема для «Наполеона».

Четыре Лёлиных яйца против пяти Мухиных до сих пор являлись весомой преградой восстановлению прежних дружественных чувств.

«Ну как мне с ней общаться? — жаловалась Лёля остальным подругам. — Она даже вкусовой букет карамели с трюфелем не различает... где уж там о заварном креме говорить».

Подруги в солидарность сочувствующе соглашались, из осторожности воздерживаясь упомянуть, что, по их мнению, в составе заварного употребляется только три яйца.

«Надо полагать, у нас с ней полнейшее перемирие, — улыбочиво думает Лёля, воображая тёпленькую ласковую ладошку Мухи у себя на талии. — Должно быть, с Митиным чепе связанное... Но как бы там ни было, — дальше подумалось ей с более сухой интонацией, — перемирие или нет, а в заварной всё равно четыре яйца идут».

Потом, отряхнувшись от смурых кондитерских мыслей, она вновь обратила взор на себя.

Как и у всех, на Лёле всё чёрное. «Правильно вырядилась, девочка, — одобряет сама себя, — по okazji... и очень даже драматично... Молодчина!»

Платье хотя и несколько строгое, но крайне эффектное: высокий корсет, неширокий драпированный подол, внизу переплетаются изящные кружева... При каждом шаге грустно шелестит, легонько как-то, совсем не вызывающе... А подходит-то, подходит-то как капитально!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.